

Владимир Набоков

ПРОСВЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ{1}

1

Вот персонаж, который мне нужен. Привет, персонаж! – Не слышит.

Возможно, если бы для каждого человека существовало определенное будущее, которое мозг, устроенный получше, был бы в состоянии различить, то и прошлое не было бы столь соблазнительно, зовы будущего умеряли бы его власть. Наши персонажи могли бы усесться на самую середину качельной доски и только мотать головой направо и налево. Вот была бы потеха. Но нет у будущего той реальности, с какой рисуется прошлое и воспринимается настоящее. Оно – речевая фигура, мыслительный призрак.

Привет, персонаж! Что такое, не дергайте меня! Я же его не трогаю. Ну ладно. Привет, персонаж... (на этот раз уже не так громко).

Как только мы сосредоточиваемся на любом предмете материального мира, что бы с ним ни творилось, само наше внимание произвольно погружает нас в его историю. Чтобы материя соответствовала моменту, новички должны учиться скользить по ее поверхности. Просвечивающие предметы, наполненные сиянием прошлого!

Особенно трудно удержать в фокусе поверхность предметов, произведенных руками человеческими, да и природных объектов тоже – самих по себе неизменных, но сильно потрепанных беспечной жизнью (вы совершенно справедливо представили себе камень на склоне холма, по которому бессчетное число лет снуют бесчисленные мелкие существа). Новички со счастливым мычанием сквозь эту поверхность проваливаются и с детским самозабвением начинают упиваться историей вот этого камня, этой пустоши. Поясню. На материю, и естественную, и искусственную, наброшен тонкий покров непосредственной реальности, и всяк, желающий пребывать внутри «сейчас», вместе с «сейчас» или над «сейчас», пусть, пожалуйста, не рвет эту натянутую пленку. Иначе окажется, что неопытный чудотворец, вместо того чтобы шествовать по водам, идет прямехонько на дно под взгляды изумленных рыб. Это еще не все.

2

Выпрастывая угловатое тело из такси, доставившее его из Трю на этот захудалый горный курорт, персонаж наш, Хью Персон (искаженное «Петерсон», некоторые произносят «Парсон»), – голова все еще в проеме для вылезавших карликов – поднял глаза вовсе не в ответ на жест, каким шофер, изображая услужливость, распахнул для него дверцу, а проверяя вид отеля «Аскот»{2} («Аскот»!) воспоминанием восьмилетней давности (пятая часть его жизни, пронизанная печалью). Эта жуткая постройка из бурого дерева и серого камня выставляла напоказ ставни вишнево-красного цвета, – прикрыты были не все, – которые, по странной мнемонической аберрации, запомнились ему яблочно-зелеными. По обеим сторонам ведущей ко входу лестницы возвышались два железных столба с каретными фонарями, снабженными электрическими лампочками. По ступенькам сбежал, спотыкаясь, слуга в фартуке, подхватил два чемодана и под мышку – обувную коробку, – все это шофер проворно выгрузил из зевнувшего багажника. Персон расплачивается с проворным шофером.

Неузнаваемый холл, конечно, все такой же убогий.

У конторки, где надо было расписаться в книге и оставить паспорт, он осведомился по-французски, по-английски, по-немецки и снова по-английски, на месте ли старина Крониг, управляющий, чье обрюзгшее лицо и фальшивую веселость он помнил весьма отчетливо. Служащая (пучок русых волос, красивая шея) сказала, что нет, мосье Крониг от них перешел в управляющие, представьте, в «Пастельные чары» (так ему послышалось). В подтверждение или как иллюстрация этого была предъявлена травянисто-зеленая, небесно-голубая открытка, изображающая раскинувшихся в креслах клиентов, с надписью на трех языках, без ошибок лишь на одном немецком. Английская гласила: «Волшебная лжайка», – и словно нарочно дерзкая фотографическая перспектива растянула эту лужайку до невероятных размеров.

– Он в прошлом году умер, – добавила девушка (анфас она ничуть не напоминала Арманду, тем самым лишив цветной снимок Палас-отеля в Чуре всякого интереса).

– Значит, никого не осталось, кто бы меня помнил?

– Увы, никого, – сказала она с интонацией его покойной жены.

Еще она посожалела, что раз он не может ей сказать, какую он на третьем этаже занимал комнату, то она в свою очередь не может ему отвести ее, тем более что весь этаж заполнен. Персон, наморщив лоб, вспомнил, что ее номер триста с чем-то и что она выходила на восток, – вида не было никакого, зато солнце здоровалось с ним на коврике у кровати. Ему очень хотелось опять туда же вселиться, но по требованию закона, когда управляющий, пусть даже бывший, поступал так, как Крониг, все записи уничтожались (самоубийство, стало быть, воспринималось как вариант подлога). Ее помощник, красивый юноша с прыщевой шеей и подбородком, весь в черном, провел Персона в комнату на четвертом этаже, всю дорогу пялясь, словно в телевизор, на уходившую вниз голубоватую глухую стену, между тем как зеркало в лифте с меньшим вниманием отразило на несколько прозрачных

мгновений длинное, худое, печальное лицо господина из Массачусетса, чуть-чуть выступающую челюсть и две симметричные складки вокруг рта, которые могли бы принадлежать какому-нибудь мужественному жокею или альпинисту, когда бы меланхолический наклон спины не противоречил такому чарующе-грандиозному образу.

Окно хоть и смотрело, как тогда, на восток – вид из него на этот раз был, и какой: колоссальный карьер, наполненный экскаваторами (замолкающими на конец субботы и воскресенье).

Слуга в яблочно-зеленом фартуке принес два чемодана и картонную коробку с надписью «Fit» на обертке, и Персон остался один. Он знал, что гостиница свое отжила, но подобного все-таки не ожидал. *Belle chambre au quatrième*, [1] слишком просторная для одного, для нескольких – чересчур тесная, лишена была всяких признаков комфорта. Он припомнил, что комната этажом ниже, где он, тридцатидвухлетний мужчина, плакал горше и чаще, чем за все свое печальное детство, хоть тоже была уродлива, но все же не настолько хаотически нелепа, как нынешняя его обитель. Кровать – настоящий кошмар. Биде в «ванной» сгодилось бы цирковой слонихе в сидячем положении, но не было ванны. Сиденье унитаза в поднятом состоянии не удерживалось. Кран, захлебываясь, выпускал мощную струю ржавой воды, сменяющейся потом слабой струйкой обычной влаги, которую как следует не ценят – текучее чудо, да, да, она заслуживает памятников, святилищ прохлады! Хью, выходя из этой постыдной уборной, прикрыл за собой дверь, но она, как глупый щенок, заскулила и последовала за ним в комнату. Теперь расскажем про наши затруднения.

3

Человек аккуратный, Хью Персон стал искать, куда сложить вещи, и обнаружил, что ящик старого, оттесненного в темный угол стола, на котором стояла похожая на каркас сломанного зонтика лампа без лампочки и абажура, плохо задвинут предыдущим постояльцем или слугой (на самом деле ни тем и ни другим) – последним, кто в него заглянул, чтобы проверить, не осталось ли в нем чего-нибудь (никто не заглядывал). Бедный мой Хью попытался втолкнуть его на место – тот сначала отказывался повиноваться, но потом, в ответ на случайный рывок (в добавление к энергии, накопленной предыдущими подталкиваниями), дал отдачу, выплюнув карандаш. Хью на него поглядел, потом положил обратно в ящик.

В нем не было гексагональной красоты его собратьев, сделанных из виргинского можжевельника или африканского кедра, с именем фабриканта, оттиснутым на серебряном наконечнике, – нет, это был самый простой, круглый, старый, лишенный всяких отличительных черт карандаш тускло-фиолетового цвета из обычного соснового дерева. Десять лет назад его забыл столяр, который, не успев досмотреть стол

(не говоря о ремонте), отправился за каким-то инструментом, да так и не вернулся. Теперь внимание.

В мастерской у столяра, а еще задолго до этого в сельской школе, карандаш изнашивается до двух третей первоначальной длины. Потемневший отточенный деревянный конус цвета отливающей свинцом сливы и вовсе бы слился с туповатым грифельным кончиком, если бы тот не отсвечивал матовым блеском. Нож и медная точилка достаточно над ним потрудились, и можно было бы при желании восстановить всю запутанную историю последовательных срезов, стружки от которых – пока свежие, светло-коричневые с исподу, розовато-лиловые снаружи – теперь рассыпались на атомы пыли, разбросанные по свету, отчего ужас перехватывает горло, но надо быть выше этого, к такому быстро привыкают, есть вещи и пострашнее. Изготовлен он был по старинке, и чинить его было одно удовольствие. Вернувшись еще на некоторое количество лет назад (хоть и не доходя до года рождения Шекспира{3}, когда был изобретен свинцовый карандаш) и проследившая потом историю нашей вещицы в направлении уже сегодняшнего дня, мы увидим, как девочки и старики смешивают очень мелко размолотый графит с мокрой глиной. Эту массу, эту паусную икру кладут в металлический цилиндр с голубым глазком – сапфир с просверленной в нем дырочкой, через которую и проталкивается графит. Он выходит непрерывной аппетитной колбаской (полюбуйтесь канашкой), словно сохраняющей форму пищеварительного тракта дождевого червя (нечего отворачиваться!). Теперь ее режут по длине карандаша (этим занимается старый Элиас Борроудэйл, – сделав шаг в его сторону, мы его чуть не толкнули под локоть, но вовремя вернулись на место, чтобы не упустить из виду наш кусочек графита). Смотрите, как он печется, смотрите, как варится в жиру (следуют моментальные снимки кучерявого зарезываемого жиродателя, снимок мясника, снимок пастуха и его мексиканца-отца) и как прилаживают к нему деревянную оправу.

Занявшись теперь древесиной, не будем терять из виду наш бесценный кусочек свинца. Вот оно, дерево! Та самая сосна! Вот ее срубили. В дело идет только ствол – его очищают от коры. Мы слышим визг новоизобретенной пилорамы, глядим на высушиваемые и разделяемые обрубки. Вот та доска, из которой будет изготовлено тело карандаша, выпавшего из пустого ящика (который до сих пор еще открыт). Мы видим его в стволе, ствол в дереве, дерево в лесу, а лес в мире, который построил Джек. Об их присутствии мы узнаем по признакам, для нас совершенно ясным, хотя и лишенным имени, – описать их так же невозможно, как описать улыбку тому, кто никогда не видел улыбчивых глаз.

Так, мерцая, разворачивается вся эта маленькая драма – от кристаллов углерода и поваленной сосны до убогого этого орудия письма, этого просвечивающего предмета. Но, увы, сам трехмерный карандаш, на мгновение побывавший в пальцах у Хью Персона, от нас все-таки ускользает. Но сам Персон от нас не уйдет.

Это был его четвертый приезд в Швейцарию. Впервые он здесь побывал восемнадцать лет назад, когда вместе со своим отцом на несколько дней приезжал в Трю. Спустя десять лет, в тридцатидвухлетнем возрасте, он вновь посетил этот старый город на озере, где успешно встряхнул свои чувства – полураскаяние, полуудивление, – отправившись взглянуть на гостиницу, где они останавливались. От безликой станции у озера, до которой он доехал по местной ветке, круто поднималась тропинка, переходящая в старую лестницу. Он помнил, что гостиница называется «Локэ», потому что это напоминало девичью фамилию его матери, происходившей из Французской Канады, – Персон–старший пережил ее на неполный год. Еще он помнил, что гостиница эта, жалкая и некрасивая, стояла в унижительном соседстве с гораздо лучшим отелем, в окнах которого смутно белели столы и, как рыбы в аквариуме, сновали официанты. Ни той, ни другого теперь не было, а на их месте возвышалась поблескивающая сталью постройка – Банк Бле: полированные поверхности, стеклянные плоскости, растения в кадках.

Спал он там в некоем нерешительном подобии алькова, аркой и вешалкой отделенном от кровати отца. Ночь – всегда чудище, но эта была особенно ужасна. Дома у Хью всегда была своя комната, и он терпеть не мог эту братскую могилу сна, угрюмо надеясь, что во время последующих остановок в их путешествии по Швейцарии, маячившем перед ним, словно в цветном тумане, у них с отцом, как обещано, действительно будут отдельные спальни. Отец его, человек лет шестидесяти, ростом пониже, чем Хью, и поплотнее, за недолгое время своего вдовства как-то неаппетитно состарился. Все его вещи обладали слабым, но совершенно определенным, безошибочно узнаваемым запахом. Он вздыхал и сопел во сне, а снились ему огромные, неподъемные кирпичи мрака, которые надо было поднять и оттащить с дороги, по ним он карабкался с замирающим чувством бессилия и отчаяния. В анналах путешествий по Европе, которые по совету домашних врачей совершают, лишь бы развеять грусть одиночества, ушедшие в отставку старцы, едва ли найдется одно–единственное, которое принесло бы хоть какую-то пользу.

Персон–старший всегда был «безруким», но то, как он последнее время шарил руками в пенной воде пространства, стараясь отыскать прозрачное мыло ускользающей материи, то, как он тщетно пытался завязать или развязать части одежды, которые требовалось затянуть или расслабить, становилось определенно комичным. Хью кое-что от этой неуклюжести унаследовал, однако новая эта ее преувеличенная форма его раздражала, словно без конца повторяющаяся пародия. В свой последний день в так называемой Швейцарии (то есть непосредственно перед событием, после которого все стало для него «так называемым») старик, руки–крюки, начал поутру сражаться с жалюзи, чтобы поглядеть, какая стоит погода, и, успев, прежде чем штора шуршащей лавиной свалилась обратно вниз, приметить мокрую мостовую, решил прихватить зонтик, как оказалось, плохо сложенный. Хью, раздувая ноздри, следил за его попытками поправить дело с безмолвным

отвращением. Гнев был незаслуженный, ибо со множеством предметов – от живых клеток до погасших звезд – происходят время от времени разные небольшие злоключения, оттого что руки их безымянных творцов не всегда умелы и бережны. Неприятно колыхавшиеся черные складки надо было уложить заново, но едва была поймана ленточка с кольцом (кружок, осязаемый большим и указательным пальцами), как в бороздах и межах пространства затерялась соответствующая пуговка. Понаблюдав немного за отцовскими неловкими ухватками, Хью вырвал зонт у него из рук с такой резкостью, что старик, прежде чем ответить на эту внезапную неучтивость извиняющейся улыбкой, еще несколько секунд продолжал шарить руками в воздухе. Так и не произнеся ни слова, Хью свирепо свернул и застегнул на пуговицу зонтик, принявший, по правде сказать, не лучший вид, чем тот, какой в конце концов придал бы ему отец.

Каковы были их планы на предстоящий день? – Завтрак там же, где накануне ужинали, потом кое-какие покупки и долгий осмотр достопримечательностей. Изображение местного чуда природы, водопада Тара, виднелось на двери в коридоре, ведущем к уборной, а в вестибюле висела большая его фотография. У конторки доктор Персон остановился и в своей обычной суетливой манере спросил, нет ли для него почты (которой он вовсе не ожидал). После недолгих поисков оказалось, что есть телеграмма на имя миссис Парсон, а для него ничего, кроме вызванного неполным совпадением легкого шока. Возле его локтя оказался свернутый сантиметр, и он попытался обхватить им свои толстые бедра, то и дело теряя конец и объясняя тем временем угрюмому администратору, что собирается купить в городе пару летних брюк и хочет заняться этим с умом. Этот вздор показался Хью столь отвратительным, что он начал продвигаться к выходу, не дожидаясь, пока отец свернет серую ленту обратно.

5

После завтрака они подыскали подходящего вида магазин. Confections. Notre vente triomphale de soldes.[2] «Триумфальная распродажа наших ветерков{4}», – перевел отец, и Хью устало-пренебрежительно его поправил. Снаружи перед витриной на железной треноге стояла ничем не защищенная от усиливающегося дождя корзина со сложенными рубашками. Грянул гром. «Давай-ка заглянем сюда», – нервно произнес доктор Персон, чей страх перед электрическими бурями был для сына дополнительным источником раздражения.

Случилось так, что Ирма, унылая и обозленная приказчица, в то утро одна работала в убогом магазинчике готового платья, куда Хью с неудовольствием проследовал за отцом. Сослуживцы ее, муж и жена, только что попали в больницу после случившегося в их квартире небольшого пожара, хозяин отлучился по делу, а посетителей было больше, чем обычно по четвергам. Когда они вошли, она одновременно

помогала сделать выбор трем старушкам, прибывшим из Лондона на туристском автобусе, и объясняла белокурой немке в трауре, где можно сделать фото для паспорта. Каждая из старушек по очереди прикладывала к груди одно и то же в цветочках платье, и доктор Персон стал тотчас же переводить их кудахтающий кокни на плохой французский. Девушка в трауре вернулась за позабытым ею пакетом, было распялено еще несколько платьев, изучено еще несколько ярлычков. Зашел новый покупатель с двумя детьми. Воспользовавшись паузой, доктор Персон спросил пару брюк. Ему было выдано несколько пар для примерки в соседней комнатке. Хью выскользнул из магазина.

Он бесцельно побрел, держась под защитой разных архитектурных выступов, – тщетно ежедневная газета, издающаяся в этом дождливом городе, взывала о возведении галерей в торговых кварталах. Хью решил посмотреть, что продают в сувенирном магазине. Его привлекла зеленоватая статуэтка лыжницы, изготовленная из материала, который он не смог распознать через витрину (это был имитирующий арагонит «алябастрик»{5}, а сделана и раскрашена была вещица узником Грюмбельской тюрьмы, силачом–гомосексуалистом Арманом Рейвом, задушившим сестру–кровосмесительницу своего друга). Может, этот гребень в чехольчике из настоящей кожи, может, действительно его? – нет, он моментально засорится, будешь потом целый час ковырять его тесные зубцы каким–нибудь маленьким лезвием вон того перочинного ножичка, дерзко выставившего напоказ свои внутренности. Хорошенькие наручные часы с собачкой на циферблате, всего двадцать два франка. Или купить (для соседа по университетскому общежитию) это деревянное блюдо с белым крестом посередине и всеми двадцатью двумя кантонами вокруг? Хью тоже было двадцать два года, и его всю жизнь преследовали символические совпадения.

Позвякивание колокольчика и мигающий красный свет на железнодорожном переезде объявили о надвигающемся событии: медленно и неумолимо начал опускаться шлагбаум.

А за приспущенной наполовину занавеской виднелись элегантные ножки в прозрачных черных чулках, принадлежащие сидящей внутри даме. Мы страшно торопимся схватить этот момент! Занавеска – в будке на тротуаре, оснащенной вертящимся стульчиком для высоких и низких и автоматом, делающим фотографии для паспорта или ради спортивного интереса. Хью глянул на ножки, потом на рекламное объявление. Мужское окончание и отсутствие акцента портили непреднамеренный каламбур{6}:

Пока он, еще девственник, воображал эти рискованные позы, слились в одно два события: раздался гром проносающегося поезда, магниевая молния осветила кабинку. Блондинка в трауре, отнюдь не сраженная током, вышла, застегивая сумочку. Чью бы она ни желала увековечить кончину снимком светловолосой красоты в черном крепе, к третьему событию, случившемуся одновременно недалеко отсюда, это не имело никакого отношения.

Может, пойти за ней – хороший был бы урок, – пойти за ней следом, а не тащиться газетью на водопад: хороший урок для старика. Хью со вздохом и проклятием поворотил оглобли (когда-то недурная метафора) и вернулся в магазин. Как Ирма потом рассказывала соседям, ей показалось, будто старый господин ушел вместе с сыном, и поэтому она сначала даже не могла понять, чего молодой человек от нее хочет, хоть он и бегло говорил по-французски. А поняв, посмеялась над собственной глупостью и поспешно повела Хью в примерочную, где, все еще сердечно смеясь, жестом, ретроспективно исполнившимся драматизма, откинула не коричневую – зеленую занавеску. Разброд и разобщение предметов в пространстве всегда комичны, и мало что может быть смешнее, чем три пары штанов, перепутавшихся на полу в застывшем танце, – коричневые шаровары, джинсы и старые серые фланелевые брюки. В тот миг, когда неуклюжий старый Персон сражался с зигзагом узкой брючины, пытаясь просунуть в нее ногу в ботинке, голова его наполнилась красным ревом. Умер он еще прежде, чем коснулся пола, словно падал с большой высоты, и теперь лежал на спине, вытянув одну руку, но так и не достав зонтика и шляпы, отразившихся в высоком зеркале.

6

Сей Генри Эмери Персон – отец нашего Персона – может быть описан и как милый, искренний, доброжелательный человек, и как жалкий обманщик – в зависимости от угла освещения и положения наблюдателя. С каким хрустом ломают пальцы во мраке угрызений совести, в темнице невозвратного. Школьнику, будь он силен, как Джек-душитель, – покажи-ка руки, Хью, – все равно не совладать с одноклассниками, когда все они жестоко издеваются над его отцом. После двух-трех драк с самыми из них мерзкими он занял позицию более хитрую и более подленькую – позицию молчаливого полусогласия, ужасавшую его теперь, когда он вспоминал эти времена. По странному выверту сознания, сам этот ужас отчасти примирял его с самим собой, доказывая, что он все-таки не полное чудовище. Теперь ему надо что-то делать со множеством вспоминавшихся ему грубостей, в которых он был виновен вплоть до последнего дня и с которыми разделяться столь же болезненно, как с очками и вставными челюстями, врученными ему в бумажном мешочке чиновником. Единственный разысканный им родственник – дядя из Скрантона – из-за океана посоветовал ему не отправлять тело домой, а кремировать за границей; на деле, однако, отвергнутая дядей процедура оказалась проще во много раз, и прежде всего потому, что позволила Хью практически тут же избавиться от страшного груза.

Все ему помогали. В особенности хотелось бы поблагодарить за всемерную помощь, оказанную нашему бедному другу, Гарольда Холла, американского консула в Швейцарии.

Из двух сильных испытанных Хью ощущений одно было общего порядка, другое – особенного.

Первым его осенило чувство освобождения, подобное ветру, чистому и исступленному, выметающему сор из избы бытия. Особенно же его воодушевило, когда в потрепанном, но пухлом отцовском бумажнике он обнаружил три тысячи долларов. Как многие молодые люди сумрачного вдохновения, в толстой пачке денег ощущающие всю полноту незамедлительных угод, он был лишен как всякой практической заинтересованности, всякого желания разбогатеть, так и тревог о завтрашнем дне (действительно излишних, ибо выяснилось что наличные деньги составляют лишь десятую часть доставшегося ему наследства). Он в тот же день переехал в гораздо лучшую женеvскую гостиницу, на ужин съел *homard à l'américaine*[3] и по улице, начинавшейся прямо за отелем, отправился искать первую в своей жизни проститутку.

По причинам оптического и физического порядка половой акт гораздо менее прозрачен, чем иные вещи, куда более сложные. Известно, впрочем, что в своем родном городе Хью ухаживал одновременно за тридцативосьмилетней матерью семейства и за ее шестнадцатилетней дочерью, но с первой ему не хватило мужской силы, а со второй – дерзости. Перед нами обыкновенный случай затянувшегося эротического зуда, привычки к одинокому его утолению, незабываемых снов. У приземистой толстушки, с которой он заговорил, на бледном, милом и вульгарном личике сияли глаза итальянки. Она повела его в одну из комнат подороже в омерзительных старых номерах, в тот самый «номер», где девяносто один, девяносто два, почти девяносто три года назад останавливался на пути в Италию один русский писатель. Кровать – другая, с латунными шишками, была застелена, расстелена, накрыта халатом и снова застелена; на ней стоит полуоткрытый саквояж в зеленую клетку, а халат наброшен на плечи темноволосого всклокоченного путешественника в открывающей голую шею ночной сорочке; его мы застаем в раздумье, что вынуть из саквояжа, который будет выслан вперед почтовой каретой, и переложить в рюкзак, который он понесет по горам на своих плечах до итальянской границы. Он поджидает своего друга, художника Кандидатова, чтобы тут же вместе отправиться на одну из тех беззаботных прогулок, какие романтики совершают даже под морозящим августовским дождичком – в те неприспособленные времена дожди шли еще чаще; сапоги его, мокрые после десятиmильного похода до ближайшей рулетки{7}, обиженно стоят за дверью, и он обернул ноги несколькими слоями газеты на немецком языке, на котором, между прочим, он лучше читает, чем по-французски. Главный сейчас вопрос, куда – в рюкзак или в сак – положить рукописи – черновики писем, неоконченный рассказ в черной клеенчатой тетради, куски философского сочинения в синем блокноте, купленном в Женеве, и множество разрозненных набросков романа с предварительным названием «Фауст в Москве». Сейчас, когда он сидит за этим ломберным столиком, тем самым, на который потаскушка Персона бухнула объемистую сумку, через эту сумку как бы просвечивает первая страница сего «Фауста» с энергично вымаранными строками и неряшливыми вставками, сделанными красными, черными и рептильно-зелеными чернилами. Вид этих писаний его захватывает, хаос на странице выстраивается в порядок, кляксы становятся прекрасными картинами, а пометки на полях – крыльями. И вместо того чтобы разбирать бумаги, он вытаскивает пробку из

походной чернильницы и с пером наготове придвигается к столу. Но в эту самую минуту в дверь весело колотят. Дверь распахивается, потом захлопывается.

Хью Персон спустился следом за случайной подружкой по крутой лестнице и дошел с ней до ее излюбленного угла, где они расстались на много лет. Он надеялся, что девушка оставит его в номере до утра и тем самым избавит от ночлега в гостинице, где в каждом неосвещенном уголке одиночества поджидал его отец, но та, заметив, что ему охота задержаться, и неправильно поняв его намерения, грубо сказала, что не желает всю ночь без толку возиться с таким слабаком, и выставила его вон.

Впрочем, заснуть ему мешал не призрак, а духота. Он настезь распахнул обе створки окна. С четвертого этажа ему была видна автостоянка; тонкий месяц был слишком бледным, чтобы осветить крыши домов, спускающихся к невидимому озеру; свет, пробивавшийся из гаража, выхватывал ступеньки пустынной лестницы, ведущей в хаос теней; все это показалось ему таким чуждым и угрюмым, что наш Персон, страдавший высотобоязнью, почувствовал, как земное тяготенье зовет его слиться с ночью и с отцом. В детстве он множество раз голышом бродил во сне, но тогда его оберегало знакомое окружение, пока наконец странная болезнь его не оставила. Сегодня, на верхнем этаже незнакомой гостиницы, он был лишен всякой защиты. Он закрыл окно и просидел в кресле до рассвета.

7

В дни, а вернее сказать, в ночи своей младости, когда Хью страдал приступами сомнамбулизма, он выходил из комнаты в обнимку с подушкой и спускался вниз по лестнице. Просыпался он, помнится, в разных странных местах: на ступеньках, ведущих в погреб, или в чуланчике у входных дверей, среди галош и дождевиков, и, хотя мальчика эти босоногие путешествия не очень-то пугали, он не желал «быть привидением» и умолял запирает спальню на ключ, что тоже не помогало, потому что тогда он через окно протискивался на покатую крышу галереи, шедшую к спальному корпусу школьного общежития. Когда это случилось впервые, он проснулся, ощутив подошвами холодок черепицы, и обратно в темное свое гнездо пробирался, избегая столкновений со стульями и прочими предметами скорее по слуху. Старый и глупый доктор посоветовал его родителям класть на пол возле его кровати мокрые полотенца, а в важных стратегических точках расставлять тазы с водой, – в результате он, обойдя в магическом сне все препятствия, оказался в обществе школьного кота на крыше, трясаясь от холода возле дымовой трубы. Вскоре после этой вылазки, однако, лунатические приступы стали случаться реже и в последние годы отрочества вовсе прекратились. Позднейшим отзвуком был странный случай сражения с ночным столиком. Произошло это, когда Хью учился в

колледже и они с другим студентом, Джеком Муром (не родственником), жили в соседних комнатах недавно построенного Снайдер–Холла. После унылого дня зубрежки Джек был посреди ночи разбужен шумом из полугостиной–полуспальни. Он отправился узнать, в чем дело. Спящий Хью вообразил, что ночной столик, трехногое существо (вытащенное из-под телефона в коридоре), начал сам по себе исполнять бешеный воинственный танец, какой он видел, когда другой подобный столик однажды был спрошен, скучает ли вызываемый дух (Наполеон) по весенним закатам на Святой Елене. Джек Мур обнаружил, что Хью, выпроставшись из постели, обеими руками вцепился в безобидный предмет и едва не сокрушил его, пытаясь столь нелепым образом прекратить несуществующие движения. Книги, пепельница, будильник, коробочки с таблетками от кашля – все было сметено на пол, терзаемое дерево скрипело и трещало в объятиях идиота. Джек Мур с трудом их разъединил. Хью, не просыпаясь, молча перевернулся на другой бок.

8

В течение десяти лет, которым суждено было пройти между первыми двумя приездами Хью Персона в Швейцарию, он зарабатывал на жизнь разными скучными способами – удел блестящих молодых людей без особых дарований или амбиций, привыкающих разменивать небольшую часть своих способностей на банальность и шарлатанство. Что они делают с другой, гораздо большей частью, прибежищем истинных чувств и мечтаний, – не совсем тайна (сейчас уж тайн не осталось), но выяснение этого привело бы к таким открытиям и откровениям, с которыми встретиться лицом к лицу было бы слишком печально, слишком страшно. Нищета духа – предмет, который специалисты должны обсуждать только со специалистами.

Он мог перемножать в уме восьмизначные числа, но двадцати пяти лет от роду утратил эту способность всего за несколько серых весенних ночей, когда с вирусным заболеванием лежал в больнице. Он напечатал в университетском журнале стихи – длинное бессвязное произведение с многообещающим началом:

Прославим многоточие... Закат

Служил небесным озеру примером...

Еще он написал письмо в лондонскую «Таймс», перепечатанное спустя несколько лет в антологии «Редактору: Сэр...», где было такое место:

Анакреон умер в восемьдесят пять лет, задушенный предтечей вина{8}

(как сказал другой иониец), а шахматисту Алехину цыганка нагадала, что его убьет мертвый бык в Испании{9}.

Окончив университет, он семь лет проработал секретарем и безымянным помощником одного знаменитого мошенника, покойного символиста Атмана{10}, неся полную ответственность за примечания вроде следующего:

Кромлех (сравни, млеко, Milch, milk) – очевидно, символ Великой Матери, так же как менгир (mein Herr) означает мужское начало.{11}

Потом он был какое-то время занят в производстве канцелярских принадлежностей, и выпущенное им вечное перо получило название «перо Персона». Это и осталось самым большим его достижением. Двадцатидевятилетним угрюмцем он поступил в большое издательство, где служил и библиографом, и ответственным за рекламу, и корректором, и помощником редактора, и старшим редактором, и угодником авторов. Усталый раб, он был отдан в распоряжение миссис Флэнкард, пышнотелой и претенциозной дамы с красным лицом и глазами осьминога, чей огромный роман «Олень» был принят к изданию при условии, что будет решительно пересмотрен, безжалостно сокращен и частично переписан. Предполагалось, что заново написанные куски – по нескольку страниц в разных местах романа – заполнят черные кровоточащие пустоты между оставшимися главами, зияющие в подвергнутом безжалостному усечению тексте. Операцию эту произвела одна из коллег Хью, хорошенькая девушка с «конским хвостом», которая вскоре ушла из издательства. Писательского таланта у нее было еще меньше, чем у миссис Флэнкард, и теперь на Хью была взвалена обязанность не только залечивать нанесенные ею раны, но и выводить бородавки, оставленные ею в неприкосновенности. Несколько раз он пил чай у миссис Флэнкард в ее прелестном загородном домике, украшенном почти исключительно полотнами ее покойного мужа – ранняя весна в гостиной, разгар лета в столовой, все красоты Новой Англии в библиотеке и зима – в спальне. В этой последней комнате Хью постарался не задерживаться, испытывая жуткое предчувствие, что миссис Флэнкард захочет быть обесчещенной прямо под палевыми снегами мистера Флэнкарда. Как и многие перезрелые, но все еще красивые дамы, имеющие какое-то отношение к искусству, она, казалось, совершенно не понимала, что огромный бюст, морщинистая шея и запах женской несвежести в смеси с одеколоном способны отпугнуть нервного мужчину. Он издал вздох облегчения, когда «наша книга» наконец вышла.

На волне коммерческого успеха «Оленя» ему дали более почетное задание. «Господин R.», как его называли в издательстве (у него было длинное немецкое имя из двух половин с аристократической частицей между замком и утесом), писал по-английски значительно лучше, чем говорил. Ложась на бумагу, его английский приобретал форму, богатство и ту иллюзию выразительности, благодаря которым менее требовательные критики удочеренной им страны называли его выдающимся

СТИЛИСТОМ.

В переписке господин R. бывал неприятен, груб и обидчив. Его отношениям с Хью, отделенным от него океаном – господин R. жил главным образом в Швейцарии и во Франции, – недоставало того ореола сердечности, который был во флэнкардовском кошмаре; но господин R., если и не первоклассный мастер, был, по крайней мере, настоящим художником, – за право пользоваться нестандартной пунктуацией, точнее выражающей какую-нибудь мысль, он сражался собственным оружием и на своей земле. Наш услужливый Персон запустил в производство переиздание в мягкой обложке одной из ранних его вещей, но после этого началось долгое ожидание нового романа, который R. обещал представить до лета. Весна прошла без результатов – и Хью полетел в Швейцарию для личного разговора с медлительным автором. Это было второе из четырех его путешествий в Европу.

9

Сияющим днем, накануне встречи с господином R., он познакомился с Армандой в швейцарском поезде между Туром и Версексом. Он сел на почтовый по ошибке, она же его избрала, потому что он останавливается на маленькой станции, откуда шел автобус в Витт, где у ее матери была дача. Арманда и Хью одновременно уселись на два противоположных кресла у окна, глядевшего на озеро. Соответствующие четыре места по другую сторону прохода заняло какое-то американское семейство. Хью раскрыл «Журналь де Женев».

Да, она была хороша собой, и была бы хороша необыкновенно, если бы не слишком тонкие губы. У нее были темные глаза, светлые волосы и медовая кожа. Парные ямочки полумесяцами спускались по загорелым щекам к скорбному рту. К черному костюму она выбрала блузку с оборками. Руками в черных перчатках она накрыла лежавшую у нее на коленях книгу. Ему показалось, что эта обложка цвета пламени и сажи ему известна. Знакомство произошло по сценарию, банальному до совершенства.

Они обменялись взглядом цивилизованного неодобрения, когда трое американских детишек стали выбрасывать из чемоданов брюки и свитера в поисках каких-то глупейшим образом забытых вещей (пачки комиксов, которые вместе с мокрыми полотенцами уже успели перейти в ведение проворной гостиничной горничной). Заметив суровый взгляд Арманды, один из взрослых отозвался гримасой добродушной беспомощности. Кондуктор стал проверять билеты.

Хью, слегка склонив голову набок, рад был убедиться, что оказался прав – это действительно было бумажное издание «Силуэтов в золотом окне».

– Одна из наших, – сказал Хью, указывая кивком на томик, все еще лежавший у нее на коленях.

Она взглянула на книгу, словно ожидая от нее объяснений. Юбка у нее была очень короткая.

– Я хочу сказать, – продолжал он, – что работаю как раз в этом издательстве. Американском, выпустившем эту книгу в твердой обложке. Нравится она вам?

Она отвечала ему на беглом, хотя и деланном английском, что терпеть не может сюрреалистических романов поэтического свойства. Ей нужен грубый реализм, отражающий наше время. Ей нравятся книги про насилие и восточную мудрость. А что, дальше интереснее?

– Ну, там есть довольно драматическая сцена в вилле на Ривьере, когда маленькая девочка, дочь рассказчика...

– Джун.

– Да, Джун, она поджигает свой кукольный дом, и вся вилла сгорает; насилие там, правда, маловато; все это довольно символично, величественно, и в то же время, как заявлено на суперобложке – по крайней мере в нашем первом издании, – не лишено некоей странной прелести. А обложку делал знаменитый Поль Плам.

Она, конечно, ее осилит, даже если скучно, потому что каждое дело в жизни надо доводить до конца; вот, например, над Виттом, где у них дом, chalet de luxe, [4] никак не могут достроить новую дорогу, и приходится каждый раз пешком тащиться до канатки на Дракониту. Это «Горящее окно», или как там оно называется, ей только накануне подарила на день рождения (ей исполнилось двадцать три) падчерица писателя, он ее, наверное...

– Джулия.

– Да. Зимой мы вместе с Джулией преподавали в Тессине в школе для девочек-иностранок. Отчим Джулии как раз развелся с ее матерью, – как он ее, бедную, мучал. Что преподавали? Ну, ритмику, гимнастику и все такое.

К этому времени Хью перешел с этим новым неотразимым персонажем на французский, который он знал по крайней мере не хуже, чем незнакомка – английский. Она предложила ему отгадать, откуда она родом, и он предположил, что из Дании или Голландии. Нет, ее отец – бельгиец, он был архитектор и прошлым летом погиб при сносе одной известной гостиницы на вышедшем из употребления курорте. А мать родилась в России, в очень аристократической семье, которая, конечно, страшно пострадала от революции. Нравится ему работа? Не трудно немножко опустить эту штору? Похороны солнца. Это что, пословица? Нет, это он сейчас придумал. В дневнике, который Хью то вел, то бросал, он записал этой ночью в Версексе:

«В поезде разговорился с девушкой. Прелестные загорелые голые ноги в

золотистых сандалиях. Как школьник, охвачен безумным желанием. Романтическое смятение, какого никогда не испытывал. Арманда Шамар. *La particule aurait juré avec la dernière syllabe de mon prénom.* [5] «Шамар» в значении «веер из павлиньих перьев», встречается, кажется, у Байрона в одном очень возвышенном восточном пассаже. {12} Пленительная развитость и в то же время чудная наивность. Дача над Виттом, построенная отцом. Если окажетесь в наших *parages*. [6] Спросила, нравится ли мне моя работа. Работа! Я ответил: «Спроси, не что я делаю, а что могу делать, спроси, красавица, подобная закату солнца сквозь полупрозрачную черную ткань. Я могу за три минуты выучить страницу телефонной книги, но не помню собственного телефонного номера. Я могу слагать вирши, такие же новые и необычные, как ты, и каких не будет еще триста лет, но не напечатал ни одного стихотворения, кроме какой-то юношеской чепухи. Играя на теннисных кортах отцовской школы, я изобрел потрясающий прием подачи – тягучий резаный удар, но выдыхаюсь после одного гейма. Чернилами и акварелью я могу нарисовать непревзойденной призрачности озеро с отражением всех райских гор, но не умею изобразить лодки, моста, паники людей в горящих окнах пламевой виллы. Я преподавал французский в американских школах, но так и не избавился от канадского акцента моей матери, который мне явственен, когда я шепчу на этом языке: «*Ouvre ta robe, Déjanire,* [7] и я взойду *sur mon bûcher*». [8] Я могу на дюйм подняться над землей и десять секунд удерживаться, но не залезу на яблоню. У меня есть степень доктора философии, но я не знаю немецкого. Я полюбил тебя, но ничего предпринимать не стану. Короче говоря, я круглый гений». По совпадению, достойному другого гения, его падчерица подарила ей книгу. Джулия Мур, конечно, забыла, что года два назад была моею. И мать, и дочь – заядлые путешественницы. Они были в Китае и на Кубе и в других диких и унылых странах, и доброжелательно-критически отзываются о разных необычных и прелестных людях, с которыми там подружались. *Parlez moi de son* [9] отчим. Он *très fasciste?* [10] Не могла понять, почему я назвал левачество госпожи R. данью расхожей буржуазной моде. *Mais au contraire,* [11] и мать, и дочь обожают радикалов! Ну, сказал я, господин R., *lui* [12] невосприимчив к политике. Моя прелесть решила, что это его беда. Сливочная шейка с маленьким золотым крестиком и *grain de beauté*. [13] Стройна, спортивна, смертоносна!»

10

Несмотря на обращенный к самому себе ласковый упрек, кое-что он все-таки предпринял. Он написал ей письмецо из роскошного отеля Версекс-Палас, где

«через несколько минут иду на коктейль с нашим достославным писателем, чья лучшая книга Вам не нравится. Позвольте ли навестить Вас, скажем, четвертого, в среду? Потому что скоро я перееду в отель

Аскот в Вашем Витте, где, говорят, даже летом можно чудно кататься на лыжах. С другой стороны, главная цель моего пребывания тут – выяснить, когда старый, негодяй закончит книгу. Странно сейчас вспоминать, с каким нетерпением еще позавчера я чаял увидеть наконец Великого Человека во плоти».

Плоти оказалось даже больше, чем Персон мог судить по недавним фотографиям. Через окно в холле он успел разглядеть писателя, когда тот вылезал из машины, но его нервная система, целиком поглощенная воспоминаниями о девушке с обнаженными бедрами в залитом солнцем вагоне, не отозвалась на это зрелище ни пением приветственных труб, ни возгласами восторга. И все же зрелище это было величественно – с одной стороны тучного старца поддерживал красавец шофер, с другой – чернобородый секретарь, а на ступеньках два выскочивших из гостиницы *chasseur'a*[14] всячески изображали свою незаменимость. Репортер внутри Персона отметил, что на нем бархатисто-шоколадного оттенка теннисные туфли, лимонного цвета рубашка с лиловым шейным платком и мятый серый костюм, ничем, по крайней мере, на американский взгляд, не выделяющийся. Привет, Персон! Они расположились в гостиной возле бара.

Внешность и речь новоприбывших лишь усиливала чувство нереальности происходящего. Этот представительный господин с глиняной маской грима и фальшивой улыбкой на лице и мистер Тамворт с разбойничьей бородой – оба они словно разыгрывали некую суконно написанную сцену перед невидимыми зрителями; Персон же, на какое бы место ни садился и куда бы ни глядел, постоянно оказывался во время этой недолгой, но пьяной беседы спиной к залу, словно его, как манекен, вместе со стулом поворачивала никем не замеченная домоправительница Шерлока Холмса{13}. Они и в самом деле казались муляжами и восковыми куклами по сравнению с реальностью Арманды, чей образ, отпечатавшийся в его сознании, проглядывал сквозь эту сцену – то перевертнем, то дразняще застревав в боковом зрении, неподдельный, неотступный, неотвязный. Банальности, которыми он с ней успел обменяться, сияли подлинностью рядом с натужными шутками поддельного застолья. «Да вы же совершенно замечательно выглядите!» – сказал Хью, когда напитки были заказаны, – ложь в его словах была через край. У барона R. было грубое нездорового цвета лицо, ноздреватый бугристый нос, косматые воинственные брови, неподвижный взгляд и бульдожий рот, наполненный гнилыми зубами. Столь заметная в его писаниях жилка зловредной изощренности присутствовала и в заранее заготовленных его речах, – сейчас, к примеру, он говорил, что о «замечательно» нет и речи, и вообще он находит в себе все больше сходства со знаменитым киноактером Ройбинсоном, игравшим когда-то старых гангстеров в фильмах, сделанных во Флориде, – только такого актера никогда не существовало.

– И все-таки, как же вы себя чувствуете? – спросил Хью, развивая свой неуспех.

– Покороче говоря, – сказал R., приводивший в отчаяние не только манерой говорить на своем мнимо обиходном английском самыми избитыми

формулами и с сильным акцентом, но и тем, что постоянно их переиначивал, – покороче говоря, я, знаете, всю зиму прихварываю. Моя, знаете ли, печень что-то против меня ополчилась. – Он отхлебнул добрый глоток виски и, полоща рот каким-то новым способом, какого Хью еще не видывал, очень замедленным движением поставил рюмку обратно на низкий столик. Побыв мгновение à deux[15] с жидкостью, пойманной в ловушку рта, он наконец проглотил ее и переключился на другой английский – на пышный стиль самых ярких своих персонажей: – Мать-ночь и сестра ее Бессонница меня изводят, а в остальном я здоров, как баран и новые ворота. Вы, наверное, не знакомы с мистером Тамвортом. Персон, произносится Парсон, Тамворт – как английская порода пятнистых свиней{14}.

– Нет, – сказал Хью, – это не от Парсон, а скорее от Петерсон.

– Хорошо, сынок, а как там Фил?

Они коротко обсудили энергию, обаяние и деловую сметку издателя.

– Только он хочет, чтобы я писал не те книги. Ему нужен, – названия романов своего соперника, которые тоже издавал Фил, он выговорил особым горловым застенчивым голосом, – ему нужен Мальчик для утех, но он согласится и на Нежную женщину, а все, что я могу ему предложить, это не Тра-ля-ля, а первый, самый скучный том моих Транс-ля-тиций{15}.

– Уверяю вас, он ждет рукопись с огромным нетерпением. Я, между прочим...

Между каким прочим? Для подобных нелогичностей стоило бы изобрести специальный риторический термин. Черная ткань едва прикрывала невиданный ландшафт между – между прочим, я с ума сойду, если ее не добьюсь.

– Я, между прочим, вчера познакомился с подругой вашей падчерицы...

– Бывшей падчерицы, – поправил господин R. – Сто лет ее не видел и столько же, надеюсь, не увижу. Повтори, сынок (бармену).

– И знаете, как это произошло? Сидит передо мной девушка и читает...

– Простите, – сказал медовым голосом секретарь, складывая нацарапанную им записку и передавая ее Хью: «Упоминания о мисс Мур и ее матери неприятны господину R.».

И я с ним согласен. Но куда же девалась знаменитая тактичность Хью? Захмелевший Хью прекрасно знал, как обстоит дело – от Фила, не от Джулии, девчонки распушенной, но не болтливой.

Эта часть просвечивания выходит у нас довольно нудной, но надо завершить отчет.

Наняв соглядатая, господин R. в один прекрасный день обнаружил, что у его жены Мэрион роман с Кристианом Пайнсом, сыном известного

режиссера, поставившего «Золотые окна» (фильм, довольно шатко построенный на лучшем романе нашего автора). Господин R. это приветствовал, поскольку старательно ухаживал за Джулией Мур, своей восемнадцатилетней падчерицей, и вынашивал планы на будущее, достойные сентиментального развратника, тремя или четырьмя браками еще не насыщенного. Очень скоро, однако, он узнал с помощью того же сыщика, в данный момент умирающего в душной грязной больнице на Формозе (остров), что юный Пайнс, красивый бездельник с лягушачьим лицом (он тоже скоро умрет), – любовник и матери, и дочери, которых он два лета ублажал в Кавальере, Калифорния. Расставание поэтому растянулось и протекало более болезненно, чем R. предполагал вначале. В разгар этой истории скромный наш Персон (хоть он на самом деле на полдюйма выше верзилы R.) тоже отхватил сбоку кусочек от пирога, на который было столько охотников.

11

Джулии нравились высокие мужчины с сильными руками и печалью в глазах. Хью познакомился с ней на какой-то вечеринке в Нью-Йорке. Через два дня он столкнулся с ней у Фила, и она спросила, не хочет ли он посмотреть «Шлепки и плюхи» (авангардный спектакль). У нее есть два билета, но мать ее уезжает в Вашингтон по судебным делам (связанным, как справедливо подумал Хью, с бракоразводным процессом): так он готов ее сопровождать? «Авангард» в искусстве редко означает что-то большее, чем дань очередной претенциозной обывательской моде, и поэтому Хью, когда поднялся занавес, был не так уж удивлен, увидев совершенно голого отшельника, восседающего посреди пустой сцены на сломанном унитазе. Джулия хмыкнула, предвкушая восхитительный вечер. Хью был подведен к тому, чтобы обхватить своей робкой лапой детскую ручку, случайно дотронувшуюся до его колена. Ее кукольное личико, раскосые глаза, поблескивающие на мочках ушей топазовые сережки, гибкое тело, скрытое под оранжевой блузкой и черной юбкой, тонкие запястья и лодыжки и редкостный отлив прямой челки на лбу радовали его мужское око. Не менее приятно было предполагать, что господин R., который в одном интервью похвастался, что наделен немалой толикой телепатических сил, в этот миг испытал в своем швейцарском убежище укол ревности.

По слухам, пьесу собирались запретить после премьеры, и группа буйных молодых демонстрантов, протестуя против подобного ущемления прав, умудрилась сорвать как раз то, что хотела поддержать. Взрывы шутих густым дымом наполнили зал, по серпантинам развернутых рулонов розовой и зеленой туалетной бумаги побежал скорый огонек, и публику вывели из театра. Джулия объявила, что умирает от жажды и отчаяния. Популярный бар по соседству с театром был забит до отказа, и Персон наш «в сиянии эдемического упрощения нравов» (как по другому поводу писал R.) пригласил девушку к себе домой. После того как в результате слишком страстного поцелуя в такси он пролил несколько

огненных капель нетерпения, он сделал глупость – начал размышлять, сумеет ли теперь удовлетворить Джулию, которую господин R., если верить Филу, растлил, когда ей было тринадцать лет, вскоре после того, как ее мать столь опрометчиво вышла за него замуж.

Холостяцкую квартиру, которую Хью снимал на 65-й Восточной улице, ему подыскало издательство. Случилось так, что именно сюда года два назад Джулия приходила на свидания к одному из лучших своих молодых любовников. Промолчать об этом у нее хватило такта, но призрак юноши, чья смерть на дальней войне сильно ее поразила, то и дело появлялся из ванной, с шумом залезал в холодильник и так странно вмешивался в ее маленькое рукоделие, что расстегиваться и укладываться она отказалась. Конечно, после подобающего промежутка времени дитя сдалось, и скоро она уже всю помогала великану Хью в его неумелой любовной игре. Но как только завершились все положенные подпихивания и задыхания и Хью, отчаянно пытаясь изображать беспечность, пошел на кухню за новой выпивкой, призрак загорелого майора Джимми с его белыми ягодицами снова занял место костистой реальности. Она заметила, что зеркало платяного шкафа, как оно видится из постели, отражает тот самый натюрморт – апельсины на деревянном блюде, что и в сладостно-краткие времена Джимми (жадного пожирателя этих гарантирующих столетнюю жизнь плодов). Она даже почти огорчилась, когда, оглядевшись, обнаружила источник видения в складках своей яркой блузки, брошенной на спинку стула.

Следующее их свидание она в последнюю минуту отменила и вскоре уехала в Европу. От этого случая у Персона остались в памяти лишь испачканные помадой бумажные салфетки да еще романтическое ощущение, что в его объятиях лежала любовница большого писателя. Но время начинает работать с этими мимолетностями, добавляя к воспоминанию новый привкус.

А сейчас мы видим обрывок газеты «La Stampa» и пустую винную бутылку. Идет большая строительная работа.

12

Около Витта шла большая строительная работа. Склон холма, на котором, как ему сказали, он найдет виллу «Настя», был весь в грязи и рытвинах. Участок, прилегающий к ней вплотную, был более или менее приведен в порядок, составляя оазис покоя посреди наполненной стуком и грохотом пустыни из глины и подъемных кранов. Здесь успел появиться даже магазин, поблескивающий среди складов, полукругом обступивших недавно посаженную рябину, под которой уже образовалась кучка мусора – пустая бутылка, брошенная рабочим, итальянская газета. Способность ориентироваться изменила Персону, но женщина, продававшая яблоки с лотка, указала ему дорогу и отозвала назад большую белую собаку, кинувшуюся ему вслед с показным усердием. Он

стал подниматься вверх по крутой асфальтированной дорожке, по одну сторону которой тянулась белая стена с торчащими за нею елями и лиственницами. Решетчатая дверь в стене вела в какой-то лагерь или школу. Оттуда доносились голоса играющих детей, и волан, перелетев через стену, улегся у его ног. Он его оставил без внимания – не из тех он, кто поднимает чужие вещи: перчатку, катящуюся монетку.

Немного дальше каменная стена прерывалась короткой лесенкой, ведущей к двери выбеленного бунгало с французской кудрявой надписью «Вилла Настя». Как это часто бывает в произведениях Р., «на звонок никто не ответил»{16}. Сбоку от входа Хью заметил еще несколько ступенек, после всего этого дурацкого подъема опять спускающихся в колючую влажность самшитовых зарослей. По этим ступенькам он, обойдя дом, вышел в сад. В шезлонге посреди лужайки с недостроенным бассейном загорала полная дама средних лет с болезненно-красными лоснящимися конечностями. Тот же самый, без сомнения, экземпляр Силуэтов и т. д. в бумажной обложке, заложенный торчащим из него письмом (которого Персону, мы считаем, лучше не узнавать), лежал поверх купального костюма, в который втиснута была главная часть объема дамы.

Мадам Шарль Шамар, née[16] Анастасия Петровна Потапова (имя вполне уважаемое, хотя и искажавшееся ее покойным мужем до «Патапуфф»){17}, была дочерью преуспевающего торговца скотом, который вскоре после большевистской революции эмигрировал со своей семьей из Рязани в Англию через Харбин и Цейлон. Она давно уже привыкла развлекать молодых людей, которых водила за нос капризная Арманда, но в новом красавце, одетом как коммивояжер, было что-то такое (твой гений, Персон!), что мадам Шамар раздражило и озадачило. Ей нравились люди подходящие. Юный швейцарец, с которым Арманда в тот момент каталась на лыжах по вечным снегам высоко над Виттом, был подходящий. Близнецы Блейки – то же самое. То же – рыжеволосый Жак, сын старого альпийского проводника, чемпион по бобслею. Но мой нескладный и угрюмый Хью Персон, со своим ужасным галстуком, вульгарно повязанным поверх дешевой белой рубашки, в этом невозможном каштановом костюме, не принадлежал к приемлемому ему миру. Когда ему было сказано, что Арманда развлекается где-то в другом месте и к чаю, может быть, не вернется, он даже не потрудился скрыть свое недовольство и удивление. Он стоял, почесывая щеку. Подкладка его тирольской шляпы потемнела от пота. Получила ли Арманда его письмо?

Ответ мадам Шамар был неопределенно-отрицательный – она могла получить сведения у красноречивой закладки, но из инстинктивной материнской осторожности воздержалась и, напротив, запихала книжку в свою садовую сумку. Хью заметил, что только что встретался с ее автором.

– Он, кажется, живет где-то в Швейцарии?

– Да, в Дьяблоннэ, около Версекса.

– Дьяблоннэ мне всегда напоминает русское «яблони». Хороший у него дом?

– Мы встречались не у него, а в гостинице в Версексе. Дом, говорят,

очень большой и старомодный, там всегда полно гостей, и довольно веселого нрава, а нам нужно было поговорить о делах. Я, пожалуй, немного передохну и пойду.

Он отказался снять пиджак и присесть в шезлонге рядом с мадам Шамар, пояснив, что на солнцепеке у него кружится голова. «Alors allons dans la maison», [17] – сказала она, точнехонько переводя с русского. Увидев, какие она прилагает усилия, чтобы встать, он вызвался ей помочь, но мадам Шамар велела ему отойти подальше и не создавать ей «психологических помех». Сдвинуть с места ее неуправляемые тела могла только одна маленькая хитрость: надо было забыть обо всем, кроме предстоящей попытки обмануть земное притяжение, тогда внутри у нее что-то щелкало и само собой совершалось чудо, подобное чуду чихания, – требуемый рывок поднимал ее с места. А пока что она неподвижно лежала в шезлонге, словно в засаде, и отважные капли пота блестели у нее на груди и над пурпурными дугами ее пастельных бровей.

– Это совершенно не требуется, – сказал Хью, – я с удовольствием посижу здесь в тени, главное – это тень. Никогда не думал, что в горах может быть так жарко.

Внезапно все тело мадам Шамар устремилось вверх с такой силой, что рама шезлонга издала почти человеческий крик. Еще миг – и она заняла сидячее положение, спустив ноги на землю.

– Вот и все, – сказала она уютным голосом и поднялась, обернутая, словно в магическом превращении, яркой махровой простыней. – Пойдемте я напою вас чем-нибудь холодненьким и покажу свои альбомы.

Что-то холодненькое оказалось теплой водой из-под крана в высоком граненом стакане; домашнее клубничное варенье расплылось в ней розоватой клубящейся мутью. Альбомы – четыре больших переплетенных тома – были выложены на очень низкий, очень круглый столик в очень moderne [18] гостиной.

– Я вас на несколько минут оставлю, – сказала мадам Шамар и при всем честном народе с поразительной проворностью взобралась по полностью просматриваемой и прослушиваемой лестнице на столь же открытый второй этаж, где сквозь одну распахнутую дверь виднелась кровать, а через другую – биде. Арманда любила говорить, что этот архитектурный шедевр ее покойного батюшки – одна из местных достопримечательностей, привлекающая туристов из дальних стран, например из Родезии или Японии.

Альбомы отличались той же неприкровенностью, что и дом, хотя впечатление оставляли не столь тягостное. Цикл, посвященный Арманде – единственное, что интересовало нашего voyeur malgré lui, [19] – открывался снимком, на котором покойный Потапов, седобородый старец на восьмом десятке, весьма щеголевато выглядящий в своем китайском халате, осеняет близоруким русским крестным знаменем невидимого младенца в высокой колыбельке. Снимки отражали не только все периоды жизни Арманды, но и достижения любительской фотографии, а также разные стадии ее невинной наготы. Ее родители и тетки – неутомимые

изготовители хорошеньких снимочков – казалось, были уверены, что десятилетняя девочка, мечта любого лютвидгеанца{18}, имеет такое же право выступать совершенно обнаженной, как малое дитя. Чтобы скрыть от находящихся у него над головой истинный предмет своего интереса, гость наш составил из альбомов пирамиду и несколько раз возвращался к фотографиям маленькой Арманды, сидящей в ванночке, прижав хоботоподобную резиновую игрушку к сверкающему животику, или встающей во весь рост, чтобы ей намылили спину и задик с очаровательными ямочками. Еще один снимок представлял иное откровение допубертатной нежности: здесь она сидела нагишом на траве (тонкая прямая черточка посередине едва отличима от чуть наклонившегося, к ней тянувшегося травяного стебля), расчесывая пронизанные солнцем волосы и широко расставив в ложной перспективе прелестные ножки великанши. Сверху из уборной донесся шум сливаемой воды, и он, виновато вздрогнув, захлопнул толстую книгу: его отзывчивое сердце с сожалением оторвалось от нее, забило тише, но никто не спустился с inferнальных высот, и он, урча, вернулся к этим глупым картинкам.

К концу второго альбома фотографии расцветились красками, словно приветствуя ее вступление в пору подростковых линек и смену оперения. Она стала появляться в цветастых платьях, модных брючках, теннисных шортах, купальниках, на фоне резкой зелени и голубизны коммерческого спектра. Обнаружилась очаровательная угловатость загорелых плечей и продолговатая линия бедер. Выяснилось, что в восемнадцать лет водопад ее светлых волос излился до поясницы. Никакое брачное агентство не смогло бы предоставить своим клиентам такого количества вариаций на тему одной–единственной девственницы. В третьем альбоме он с приятным чувством возвращения домой обнаружил признаки ближайшего окружения: лимонные с черным диванные подушки в другом конце комнаты и распластанная на паспарту бабочка с птицеобразными крыльями – над камином. Четвертый альбом, до конца не заполненный, заблестал самыми ее целомудренными образами. Арманда в розовой куртке, Арманда, сияющая, как бриллиант, Арманда, несущаяся по склону на лыжах, вздымая сахарную пыль. Наконец с верхнего этажа прозрачного домика заковыляла по лестнице мадам Шамар. На ее голом локте, когда она ухватилась за перила, всколыхнулся жир. Теперь она была в изысканном летнем платье с оборками, будто пройдя, как и ее дочь, разные стадии метаморфоз.

– Сидите, сидите, – вскричала она, пошлепав по воздуху рукой, но Хью стал уверять, что ему пора идти.

– Скажите ей, – добавил он, – скажите вашей дочери, когда она вернется со своего ледника, что я ужасно огорчен. Скажите ей, что я неделю, две недели, три недели пробуду в этом мрачном отеле «Аскот», в этой несчастной деревушке Витт. Скажите ей, что, если она не позвонит, я сам ей буду звонить. Скажите ей... – продолжал он, двигаясь по скользкой дорожке промеж кранов и бульдозеров, застывших в предвечернем золоте, – что мой организм ею отравлен, ею и двадцатью ее сестрами, двадцатью ее уменьшенными копиями из прошлого, и что если она не будет моей, я погиб!

Он все еще был довольно наивен, как это бывает с влюбленными. Другой

бы сказал толстой и вульгарной мадам Шамар: «Как вы смеете выставлять ваше дитя напоказ перед пришельцами с обостренными чувствами?» Но Персон наш неопределенно предположил, что это просто образец современной свободы нравов, принятой в кругу мадам Шамар. Господи, в каком кругу? Как и мать Хью, мать нашей дамы была дочерью сельского ветеринара (единственное совпадение во всей этой довольно грустной истории, о котором стоит упомянуть). Спрячь снимки, глупая нудистка!

Она позвонила около полуночи, когда он пребывал в колодце тут же ускользнувшего, но определенно дурного сновидения (после молодой картошки, залитой расплавленным сыром и запитой бутылкой еще более юного вина в гостиничном carnetzet[20]). Хватая трубку, он стал другой рукой нащупывать очки для чтения, без которых в силу некоей аберрации сопряженных чувств, не мог говорить по телефону.

– Это Ю Персон? – раздался ее голос.

Еще когда в поезде Арманда прочла вслух его визитную карточку, он понял, что она всегда будет произносить его имя как «Ю».

– Да, это я, то есть «Ю», то есть вы совершенно прелестно коверкаете мое имя.

– Я ничего никогда не коверкаю. Знаете, я не получила...

– Нет, коверкаете! Вы опускаете начальный согласный, будто... будто жемчужину в чашку для подаяния.

– Надо говорить не в чашку, а в шапку. Я выиграла. Теперь слушайте. Завтра я занята, а как насчет пятницы, – вы можете быть готовы à sept heures précises?[21]

Конечно, может. Арманда пригласила «Перси», как она посулила впредь его называть, раз ему не нравится «Ю», кататься на лыжах в Драконите или, как ему послышалось, в какие-то Мрака Нити, и он тут же представил себе лесную чашу, которая служит романтическим путникам защитой от голубого сияния альпийского полудня. Он ответил, что слалому так и не научился, хотя был на каникулах в Шугарвуде, штат Вермонт, но с удовольствием будет сопровождать ее пешком, гуляя по тропе, не только услужливо нарисованной его воображением, но и чисто выметенной метлой снеговика – одна из тех мгновенных безосновательных фантазий, которые могут порой одурачить и мудреца.

Теперь мы должны поймать в фокус главную улицу Витта на следующий день после ее звонка, в четверг. Она кишит просвечивающими прохожими

и происшествиями – мы могли бы погрузиться в них и сквозь них с ангельским или авторским наслаждением, но для данного отчета ограничимся лишь единственной персоной нашего Персона. Не такой уж любитель прогулок, он пустился в недолгое, но утомительное празднование по поселку. По улице уныло струился, струился поток автомобилей; некоторые из них с тяжелой неуклюжестью неподатливых механизмов искали места для стоянки; другие направлялись в более модный курорт Тур, расположенный в двадцати километрах к северу, или, наоборот, возвращались оттуда. Он несколько раз прошел мимо старого фонтана, откуда вода струилась по выдолбленному в бревне желобу, обросшему с обеих сторон геранью. Он осмотрел почту и банк, церковь и туристическое бюро, а также знаменитую закопченную хижину, которой вместе с капустой на огороде и растопырившим руки пугалом разрешили доживать свои дни между доходным домом и прачечной.

В двух разных кабачках он выпил пива. У витрины спортивного магазина он помедлил, помедлил и купил прелестный серый свитер с отложным воротником и вышитым на сердце маленьким, очень красивым американским флагом. «Сделано в Турции» – пролепетала этикетка.

Только он подумал, что надо еще подкрепиться, как увидел ее – она сидела за столиком в уличном кафе. «Ю» к ней кинулся, полагая, что она одна, потом заметил, но слишком поздно, еще одну сумочку на противоположном кресле. В ту же самую минуту из помещения вышла ее подруга и, садясь на свое место, произнесла прелестным нью-йоркским голоском с теми распутными нотками, которые он узнал бы и в раю:

– Какая-то сатира на сортир.

Тем временем Хью Персон, не в силах содрать с лица маску приветливой ухмылки, подошел к ним и был приглашен составить им компанию.

Дама за соседним столиком, забавным образом напоминающая Персонову покойную тетку Мелиссу, которую мы так любим, читала «Еральд Трибюн». Арманда надеялась (в расхожем смысле слова), что Джулия Мур и Перси уже встречались. Джулия тоже в этом не сомневалась. Не сомневался – о, да – и Хью. Позволит ли двойница тетушки взять свободный стул? Да, конечно. Тетушка, добрейшая душа, живет с пятью кошками в игрушечном домике в конце березовой аллеи, в тишайшей части...

Тут нас прерывает оглушительный грохот – невозмутимая официантка, женщина бедная, но бедная по праву, уронила поднос с пирожками и бутылками и, присев на корточки, с лицом по-прежнему невозмутимым, рассыпалась на тысячу быстрых мелких характерных для нее движений. Арманда сообщила Перси, что Джулия специально приехала к ней из Женева, чтобы перевести несколько фраз, с помощью которых собирается «произвести впечатление» на своих русских друзей, к которым завтра летит в Москву. А Перси приехал сюда работать с ее отчимом.

– Слава Богу, бывшим отчимом, – сказала Джулия. – Кстати, Перси, если это теперь твой *nom de voyage*, [22] ты тоже можешь мне помочь. Арманда уже объяснила, что мне надо пленить кое-кого в Москве, – людей, которые обещали познакомить меня с одним молодым и знаменитым

русским поэтом. Арманда меня снабдила разными чудными словечками, но мы застряли на (доставая из сумки клочок бумаги), – я хочу знать, как сказать: «Какая хорошенькая церквушка» и «Сколько снега». Понимаешь, мы сперва переводим на французский, и она считает, что это будет *rafale de neige*, [23] но не может же быть по-французски *rafale*, а по-русски «рафалович»{19}, или как там они говорят.

– Это будет *congège*, [24] – сказал наш Персон, – слово женского рода, так говорила моя мать.

– Значит, по-русски сугроб, – сказала Арманда, сухо добавив: – Только в августе там не очень-то много снега.

Джулия засмеялась. Джулия выглядела здоровой и счастливой. Джулия была даже красивее, чем два года назад. Станет ли она теперь мне сниться – с этим новым рисунком бровей, с длинными волосами? Как быстро сны поспевают за модами? Приснится ли она мне в следующий раз все еще с прической японской куклы?

– Можно, я вам что-нибудь закажу? – сказала Арманда, обращаясь к Перси, но без пригласительного жеста, какими обычно сопровождаются подобные фразы.

Перси выпил бы, пожалуй, чашку горячего шоколада. Сладко и страшно – снова встретить на людях предмет прежней огненной страсти! Арманде, конечно, нечего опасаться. Совсем другой класс, нет сравнения. Хью пришла на память известная новелла Р. – «Прошедшее, настоящее и будущее».

– Послушай, Арманда, мы ведь кажется еще не все перевели?

– Мы и так уже два часа на это потратили, – сказала Арманда довольно сердито, не понимая, наверное, что ей нечего опасаться. Сладость была совсем другого – скорее интеллектуального или художественного свойства, в точности как в новелле у Р.: шикарный господин в темно-синем клубном пиджаке ужинает на освещенной веранде с тремя декольтированными красавицами – Алисой, Беатой и Виолой, которые до этого никогда не встречались: А. – бывшая любовь, Б. – теперешняя его любовница, В. – будущая жена.

Он пожалел, что по примеру Арманды и Джулии не заказал себе кофе. Шоколад нельзя было взять в рот. Ему принесли просто чашку горячего молока. Отдельно подавался какой-то элегантный пакетик и немного сахара. Верхний краешек пакетика надо было надорвать, а бежевую пыль из него вытряхнуть в безжалостно пастеризованное молоко. Отпиваешь молоко – и добавляй скорее сахар. Но никакой сахар не отобьет этого скверного, пресного, поганого вкуса.

Арманда, наблюдавшая все стадии его изумления и разочарования, улыбнулась и сказала: «Будете знать, во что швейцарцы превратили горячий шоколад. Моя мать, – продолжала она, повернувшись к Джулии (которая, хоть и гордилась своей сдержанностью, тут с красноречивым *sans-gêne* [25] Прошедшего залезла своей ложечкой в чашку Хью, чтобы снять пробу), – мать моя однажды даже заплакала, когда ей подали эту

бурду, – с такой нежностью она вспоминает шоколад своего шоколадного детства.

– Довольно противно, – согласилась Джулия, облизывая бледные пухлые губы, – но все-таки лучше нашего американского пойла.

– Потому что ты самая плохая патриотка на свете, – сказала Арманда.

Очарование Прошедшего состояло в сохранении тайны. Зная Джулию, он был уверен, что та никогда не расскажет про их роман – одну каплю из множества глотков – случайной подруге. В тот миг, хрупкий и бесценный, они с Джулией (alias[26] рассказчик с Алисой) заключили соглашение касательно прошлого, бесплотное соглашение против реальности, как она представлена говорливым углом улицы, шелестящими автомобилями, деревьями, прохожими. Место Б. занимал в этом трио Безумный Витт, а место главной незнакомки – и в этом была особая прелесть – Арманда, будущая его возлюбленная, которая так же мало знала о будущем (автору, конечно, известном во всех деталях), как и о прошлом, чей вкус Хью снова смаковал с пыльно-коричневым молоком. Персон, сентиментальный простак и персонаж отнюдь не идеальный (идеальные были бы выше этого, а он – только добрая душа), пожалел, что сцена не сопровождается музыкой, что румынский скрипач не бережит смычком два переплетенных единой монограммой сердца. В этом кафе не было даже громкопроигрывателя, который мог бы механически воспроизвести вальсик «Сладость». Некий поддерживающий ритм создавали, однако, голоса прохожих, звон посуды, шелест горного ветра в почтенной купе каштана на углу. Наконец они собрались уходить. Арманда напомнила ему про завтрашний поход. Джулия попрощалась с ним за руку и попросила молиться за нее, когда она будет говорить по-русски этому очень страстному, очень выдающемуся поэту «je t'aime», что в английской передаче звучит как «yellow blue tibia».[27] Они разошлись. Хью вдруг с проклятием остановился и повернул обратно за забытым пакетом.

14

Пятница. Утро. Глоток кока-колы. Отрыжка. Бритье на скорую руку. Он надел свое обычное платье, дополнив его для фасона свитером с отложным воротником. Последнее собеседование с зеркалом. Из красной ноздри он извлек черный волосок.

Первое разочарование ожидало его с седьмым ударом часов на месте встречи (площадь перед почтой), куда она явилась в сопровождении трех юных атлетов, Джека, Джейка и Жака, чьи медные лица скалились возле нее на одном из последних снимков четвертого альбома. Заметив, как недовольно задвигался его кадык, Арманда беспечно проворковала, что ему, может, и не стоит с ними ходить, потому что «мы хотим подняться до единственного работающего летом подъемника, а залезть

туда без привычки не так-то просто». Белозубый Жак, полуобняв свою дерзкую подругу, доверительно посоветовал monsieur[28] переобуться в более крепкие ботинки, на что Хью отвечал, что американцы ходят по горам в любых старых башмаках и даже в теннисных туфлях.

– Мы решили, – сказала Арманда, – вас тоже поставить на лыжи. Все наше снаряжение хранится у хозяина подъемника, и он наверняка что-нибудь для вас подыщет. Каких-нибудь пять уроков – и вы будете закладывать виражи. Еще, я думаю, вам нужна куртка. Тут, внизу, на двух тысячах футов лето, а на девяти будет полярная стужа.

– Крошка права, – сказал Жак с притворным восхищением, похлопывая ее по плечу.

– Сорок минут ходу, – добавил один из близнецов. – Хорошая разминка.

Скоро выяснилось, что Хью не в состоянии ни за ними угнаться, ни вообще достичь четырехтысячной отметки с северной стороны над Виттом, откуда начиналась канатная дорога. Обещанная «прогулка» оказалась чудовищным мученьем – хуже всего, что он испытал во время школьных походов в Вермонте или Нью-Гемпшире. Путь состоял из очень крутых подъемов, очень скользких спусков и опять гигантских подъемов по склону очередной горы. Тропа была усеяна камнями, корнями и рытвинами. Бедный потный Хью, как он пытался в затылок Арманде (пучок русых волос), которая сама легко поспевала за легконогим Жаком. Близнецы-англичане составляли арьергард. Если бы они так не спешили, Хью, вероятно, совершил бы это несложное восхождение, но его бессердечные и беззаботные спутники ускоряли шаг, ничуть не щадя его, взлетая на кручи, и с шиком съезжали по спускам, с которыми Хью препирался, умоляюще простирая к ним руки. От предложенной ему палки он отказался, но в конце концов после двадцати минут пытки запросил короткой передышки. К пущему его посрамлению, когда он, низко наклонив голову со свисающей с кончика носа капелькой пота, уселся на камень, осталась с ним вовсе не Арманда, а Джек и Джейк. Близнецы были неразговорчивы и, подбоченясь, лишь обменивались молчаливыми взглядами, стоя чуть поодаль на тропинке. Чувствуя, что благорасположение их иссякает, он стал уговаривать их идти вперед, пообещав немного погодя двинуться следом. Они ушли, он подождал – подождал немного и заковылял обратно в деревню. Когда тропа ненадолго вышла из леса, он снова устроился отдохнуть на краю обрыва, откуда одинокая скамейка, даром что безглазая, жадно взирала на чудесный вид. Сидя на ней и покуривая, он вдруг заметил высоко наверху всю компанию – синяя, серая, розовая и красная куртки махали ему со скалы. Он помахал им в ответ и продолжил свое невеселое отступление.

Но Хью Персон не сдался. Обутый в настоящие сапоги, с альпенштоком в руках и жевательной резинкой во рту, он снова пошел с ними на следующее утро. Он поставил условием, что сам себе выберет темп и что они нигде не будут его ждать, и дошел бы до канатной дороги, если бы не сбился с пути и не попал в конце концов на заросшую колючим кустарником лесосеку, где дорога обрывалась. Предпринятая через день-другой еще одна попытка оказалась более успешной. Он почти дошел до альпийских лугов, но тут переменилась погода, все

окутал сырой туман, и он два часа одиноко стучал зубами в вонючем коровнике, выжидая, пока из клубящихся паров снова покажется солнце.

В другой раз он вызвался нести новую пару лыж, только что ею купленную, – странные рептильно-зеленого цвета полоски из металла и фибергласа. Их сложные крепления явно приходились ближайшей родней тем ортопедическим средствам, с помощью которых передвигаются калеки. Когда ему было позволено взвалить эти драгоценные лыжи на плечо, они показались ему волшебными легкими, но скоро отяжелели, как малахитовые глыбы, и он их волок следом за Армандой, шатаясь словно клоун, помогающий менять реквизит на цирковой арене. Груз у него был выхвачен, как только он присел отдохнуть, а взамен предложен бумажный пакетик (четыре небольших апельсина), который он оттолкнул, не глядя.

Персон наш был упрям, а кроме того – безумно влюблен. Стихия волшебной сказки, казалось, заливала готической розовой водицей все усилия взять приступом бастионы ее Дракона. На следующей неделе он в крепость проник и стал меньшей для нее докукой.

15

Потягивая ром на залитой солнцем террасе Café du Glacier, [29] чуть ниже приюта Дракониты, слегка опьяненный алкоголем, замешанным на горном воздухе, Хью весьма самодовольно поглядывал на лыжное поле (чудное зрелище после всей этой водицы с острова, именующего себя майкой) и впитывал блеск горнолыжных трасс, синеву следов «елочкой» на снегу, многоцветье фигурок, словно случайным мазком намеченных на слепящей белизне рукой фламандского мастера. Он подумал, что этот вид можно бы прекрасно использовать для суперобложки «Пленника креплений» – автобиографии знаменитого лыжника, рукопись которой (тщательно исправленную и дополненную множеством издательских рук) он недавно готовил к печати, ставя вопросительные знаки, как он сейчас вспомнил, против таких терминов, как *godilles* или *wedel*n [30] (гот. {20}?). Забавно за третьей рюмкой глядеть на всех этих нарисованных человечков, снующих туда-сюда, теряющих кто лыжу, кто палку или победно завершающих вираж в брызгах серебряной пыли. Хью Персон, перейдя теперь на вишневую водку, стал думать, хватит ли ему сил заставить себя последовать ее совету («такой большой, славный, спортивный янки – и не умеет кататься на лыжах!») и превратиться в одну из тех фигурок, что, лихо согнувшись, летят с горы, или он навечно обречен вновь и вновь принимать беспомощную позу неуклюжего новичка, который, рухнув в снег, долго лежит на спине, напрасно изображая безмятежного ленивца. Растерянным и влажным оком он никак не мог найти в толпе лыжников силуэт Арманды. Однажды он был уже уверен, что ее отыскал – она парила и мелькала в своей красной куртке, с непокрытой головой, очаровательная до безумия, – вон, вон она, а теперь тут, – подсказывает на трамплине, стремительно

приближается, исчезает на мгновение за бугром – и вдруг превращается в пучеглазую незнакомку.

В этот самый миг, шурша блестящим зеленым нейлоном, она появилась с другой стороны террасы. Она несла в руках лыжи, но еще не сняла своих замечательных ботинок. Он потратил достаточно времени на изучение швейцарской лыжной экипировки в витринах магазинов, чтобы знать, что кожу заменили пластики, а шнурки – твердые застежки.

– Первая девушка на Луне, – сказал он, указывая на ее ботинки. Если бы они так плотно не сидели на ногах, она пошевелила бы внутри пальцами, как обычно поступают женщины, когда кто-нибудь хвалит их обувь (улыбающиеся пальчики вместо гримасы губ).

– Послушай, – сказала она, разглядывая свои «Мондштейновские сексоходы»^{21} (их невероятное название), – я лыжи оставлю здесь, переобуюсь, и мы с тобой спустимся à deux, [31] Я поссорилась с Жаком, и он ушел со своими дорогими друзьями. Слава Богу, все кончено.

Сидя напротив него в божественной кабине подвесной дороги, она удовольствовалась сравнительно учливой версией того, что позже поведала ему во всей красочности мерзких деталей. Жак требовал, чтобы она присутствовала на мастурбационных сеансах, которые он проводил с близнецами Блейк у них на даче. Раз он уже заставил Джейку показать ей свою снасть, но она, топнув ножкой, призвала их к порядку. Теперь Жак поставил ей ультиматум: или она будет участвовать в их гадких играх, или он отказывается с ней спать. Она готова быть сколь угодно современной и в социальном смысле, и в сексуальном, но это, по ее мнению, грубо, оскорбительно и старо, как Древняя Греция.

Кабина так и парила бы в голубом сиянии не хуже райского, если бы могучий служитель не поймал ее прежде, чем она повернула обратно в вечность. Они вышли. Под навесом, где машина творила свою скромную нескончаемую работу, царил весна. Чопорно извинившись, Арманда на минуту исчезла. На заросшем одуванчиками лугу паслись коровы, из близлежащей buvette^[32] раздавалась радиомызыка.

В застенчивом трепете молодой любви Хью мучился мыслью, можно ли будет ее поцеловать, если они остановятся отдохнуть на каком-нибудь извиве тропинки. Да, он попробует, как только они достигнут пояса рододендронов, где, вероятно, сделают привал – она, чтобы снять куртку, он, чтобы вынуть камушек из правого ботинка. Рододендроны и можжевельник давно сменились ольховником, и знакомый голос отчаяния стал внушать Персону, что камушек и мотыльковый поцелуй лучше отложить до другого раза. Когда они дошли до ельника, она остановилась, осмотрелась по сторонам и сказала столь же обыденным тоном, как если бы предлагала собирать грибы или ягоды: «А теперь займемся любовью. Вон за теми деревьями есть симпатичная полянка со мхом – никто не помешает, если не тянуть». Нужное место было отмечено апельсиновой кожурой. В порядке подготовки, какой требовала его нервическая плоть (просьба «не тянуть» была ошибкой), он попробовал ее обнять, но она рыбьим движением вывернулась и уселась

на кусты черники, стаскивая с себя башмаки и брюки. Вдобавок ко всему, его неприятно поразила рифленая фактура ее черных рейтуз грубой вязки, которые она носила под лыжными брюками. Спустить их она согласилась только до необходимого уровня. Ни целовать себя, ни даже поласкать ей бедра она не позволила.

– Ну, значит, не везет, – в конце концов сказала она, но стоило ей, приподнявшись и натягивая рейтузы, ненароком к нему прижаться, как он моментально обрел силы и исполнил все, что от него требовалось.

– Ну а теперь домой, – обронила она обычным голосом сразу, как только дело было сделано, и они в молчании стали быстро спускаться дальше.

За следующим поворотом тропинки внизу показались первые сады Витта, а еще ниже можно было разглядеть сверкающий ручеек, лесной склад, скошенные поля, коричневые домики.

– Ненавижу Витт, – сказал Хью. – Ненавижу жизнь. Ненавижу себя. Ненавижу эту старую мерзкую скамейку.

Она остановилась, чтобы взглянуть, куда указывает его гневный палец, и он ее обнял. Сперва она попробовала уклониться от его губ, но он отчаянно настаивал. Внезапно она уступила, и тут произошло маленькое чудо. Дрожь нежности подернула рябью ее черты, словно ветерок – отражение в воде. На ресницах ее блестели слезы, плечи дрожали в его объятьях. Этому мигу нежной муки больше не суждено было вернуться – вернее, ему не дано будет времени, чтобы повториться по завершении цикла, заданного его собственным ритмом; и все же это короткое содрогание, в котором она растаяла вместе с солнцем, вишневыми деревьями, прощенным пейзажем, задавало ноту для его нового существования, подразумевающую, что как бы «все в порядке», несмотря на ее припадки дурного настроения, глупейшие капризы, грубейшие требования. Именно этот поцелуй, а не то, что ему предшествовало, и был истинным началом их романа.

Она высвободилась, не произнося ни слова. Долгая вереница детей, замыкаемая наставником, поднималась им навстречу по крутой тропинке. Один из школьников вскарабкался на круглый валун и спрыгнул вниз с радостным визгом. «Grüss Gott», [33] – сказал учитель, проходя мимо Арманды и Хью. «Привет, если не шутите», – отозвался Хью.

– Он, наверное, решил, что ты ненормальный, – сказала она.

Миновав рощицу на берегу и перейдя через мост, они дошли до задов Витта, откуда, срезав напрямик по перекопанному и грязному склону между недостроенными дачами, добрались до виллы «Настя». На кухне Анастасия Петровна ставила цветы в вазу.

– Мама, иди сюда, – закричала Арманда по-русски, – жениха привела!

В Витте был новый теннисный корт. Однажды Арманда вызвала Хью на бой.

Сон, со времен детства с его ночными страхами, всегда был проблемой для нашего Персона. Проблемой двойкой. Иногда он часами должен был угождать черному автомату с помощью автоматического повторения какого-нибудь подвижного образа. Это была одна беда. Но еще большее мученье доставляло ему то полубезумное состояние, в которое он погружался, когда наконец засыпал. Он не мог поверить, что не для него одного ночь сотрясается от грубых и нелепых кошмаров, оставляющих за собой еще и дневную тень. Ни случайные дурные сны, рассказанные время от времени его друзьями, ни весь ранжир фрейдистских сонников с их веселенькими разъяснениями – ничто не могло сравниться с усложненной злостностью его почти еженощных опытов.

Первую проблему он еще в отрочестве пытался разрешить с помощью хитроумного метода, который действовал лучше всяких таблеток (слишком слабые давали недолгий сон, чересчур сильные выпускали на волю рой чудовищных видений). Метод, на который он набрел, заключался в мысленном воспроизведении, с точностью метронома, теннисной партии. Теннис был единственной игрой, доступной ему и в юности, и в сорок лет. Играл он не просто сносно, а с какой-то даже раскованной изысканностью (которую много лет назад перенял от своего кузена – лихого малого, тренера школы в Новой Англии, директором которой был его отец), и к тому же изобрел удар, какого ни Гай, ни зять Гая, еще лучший профессионал, не могли ни повторить, ни принять. В нем было нечто от искусства для искусства, – таким ударом нельзя отбить мяч после неуклюжего низкого отскока, он требует идеально уравновешенной стойки (трудно достижимой на бегу) и сам по себе победы не обеспечивает. Удар Персона делается напряженной и твердой рукой, сочетая силу драйва с вязкой подрезкой, так что мяч словно льнет к ракете, пока не отрывается от нее. Соприкосновение происходит у верхнего края ракетных жил, причем игрок должен далеко отстоять от летящего мяча и как бы к нему тянуться. Отскок – достаточно высокий, чтобы верхняя часть ракеты не подкручивала мяч, а плотно к нему «приклеивалась», направляя его по четкой траектории. Если мяч недостаточно плотно прилипает к жилам или попадает на середину овала, то получается самая обычная смазанная, медленная «свеча», которую легко отбить. Но если удар произведен правильно, он отзывается сухим хрустом в предплечье, и мяч точнехонько отлетает на предуготовленную для него точку у задней линии, «приликая» к земле точно так же, как к жилам ракеты при самом ударе. Сохраняя заданную ему скорость, мяч едва отрывался от площадки, и Персон думал, что путем огромной, бесконечной тренировки его можно заставить вовсе не отскакивать, а катиться с молниеносной скоростью по поверхности корта. Отбить же неотскачивший мяч еще никому не удавалось, и такие удары пришлось бы в скором времени запретить как нарушение спортивных приличий и правил. Но даже в грубом исполнении самого

изобретателя удар бывал иногда восхитителен.

Принимая удар Персона, противник обычно мазал самым смехотворным образом, потому что низкий мяч невероятно трудно даже не послать в цель, а просто отбить. Гай с гаером–зятем всегда удивлялись и досадовали, когда Хью удавался его «клеякий» удар, что, к сожалению, случалось нечасто. Он мстил тем, что не говорил озадаченным профессионалам, пытавшимся воспроизвести этот прием (добываясь лишь слабого подобия), что весь фокус не в резкости, а в вязкости удара, и даже и не в самой вязкости, а в точном соединении мяча с ракетой у верхнего края ее жил, а также в твердом движении руки. Хью годами мысленно пестовал этот удар еще долгое время после того, как шансы его использовать свелись к двум–трем попыткам в какой–нибудь жалкой схватке (на самом деле в последний раз он удался ему в Витте – в игре с Армандой, после чего та убежала с корта, и обратно ее было недозваться). Чаще всего он прибегал к нему как к снотворному. На этих ночных тренировках перед погружением в сон он чрезвычайно усовершенствовал свой удар, например, сократил время на подготовку к нему (принимая сильную подачу), а также научился его зеркальному воспроизведению (при ударе слева – вместо того чтобы бегать как дурак за мячом). Стоило ему поудобнее пристроить щеку на мягкой прохладной подушке, как по руке пробегала знакомая дрожь уверенности, и он уже без остановки играл одну партию за другой. В запасе имелись и дополнительные изюминки, вроде ответа на вопрос сонного репортера: «подрежь, но не закручивай», или переполненного маком кубка Дэвиса, который он, победитель, принимал в блаженном тумане.

Почему он перестал пользоваться этим средством от бессонницы, женившись на Арманде? Ведь не потому, что она раскритиковала любимый его удар как оскорбительный и совершенно неинтересный? Неужели интимные чары странного снотворного разрушила новизна разделенной постели или, может быть, соседство чужого мозга, гудящего под боком? Возможно. По крайней мере, он перестал и пытаться, убедив себя, что одна–две бессонные ночи в неделю – для него безобидная норма, а в остальные довольствовался тем, что просматривал события дня (тоже, по–своему, автомат), заботы и *misères* [34] обыденной жизни, изредка расцвеченные павлиньей радугой – тем, что тюремные психоаналитики называют сексом.

Говорил ли он, что вдобавок к бессоннице страдает синдромом снобязни?

Было чего бояться. По части повторяемости кошмарных сюжетов он мог бы состязаться с самыми выдающимися душевнобольными. Иногда ему удавалось вчерне восстановить сюжет с вариантами, которые, сменяя один другой в пространственно организованной последовательности и различаясь лишь незначительными деталями, расцвечивали фабулу, вводили еще какую–нибудь новую отвратительную ситуацию, но всякий раз воспроизводили одну и ту же, вне их не существующую историю. Выслушаем омерзительную ее часть. Один эротический сон с идиотской настойчивостью повторялся в течение нескольких лет и до, и после смерти Арманды. В этом сне, отвергнутом психоаналитиком (странный тип, сын цыганки и неизвестного солдата), как слишком прямолинейный,

ему предлагалась спящая красавица на украшенном цветами блюде, с набором разложенных на подушечке инструментов в придачу. Последние различались длиной и шириной, хотя число их и ассортимент менялись от раза к разу. Тщательно в ряд бывали уложены: резиновое орудие с лиловой головкой длиной в ярд, толстый короткий блестящий лом, потом что-то похожее на длинный вертел с нанизанными на него кусочками сырого мяса, чередующегося с прозрачным жиром, и тому подобное – примеры, выбранные наугад. Отдавать чему-либо предпочтение – кораллу, бронзе или этой ужасной резине – не было никакого смысла, ибо какой бы он ни выбрал инструмент, тот начинал изменять размер и форму и никак не подходил к его собственному анатомическому устройству, – в критический момент он обламывался или распадался на две половины между ног или, скорее, между костей более или менее расчлененной дамы. Со всей силой антифрейдистской убежденности он хотел бы подчеркнуть: ни с чем, испытанным в сознательной жизни, эта попытка сновидением не имела ничего общего ни в прямом, ни в «символическом» смысле. Эротическая тема была просто одной из многих, подобно тому как «Мальчик для забавы» – не более чем случайный каприз по отношению ко всему написанному серьезным, даже слишком серьезным писателем, пародировавшимся в одном недавнем романе.

Во время других, не менее зловещих ночных испытаний он пытался каким-то образом остановить или направить в другую сторону струйку зерна или мелкого гравия, вытекающего через прореху в пространстве, но ему страшно мешали всевозможные паутинообразные, нитевидные, игольчатые частицы, хаотические бугры и пустоты, крошащийся мусор, раскалывающиеся колоссы. И в конце концов он оказывался погребенным под горами этой дряни, и это была смерть. Менее страшными, но вероятно, более опасными для мозга были кошмары с «обвалами», посещавшие его обыкновенно на грани пробуждения, когда образы их оборачиваются словесным паводком в долинах Одея и Яла, чьи округленные серые кручи, *Roches étonnées*, [35] потому заслужили такое название, что из-за темных выпучиваний (*écarquillages* [36]) кажутся как бы оскаленными и озадаченными. Сновидец – идиот, не лишенный животной хитрости: неисправимый изъян его сознания сродни спотычке в скороговорке: «риск – скорби укор».

Ему было сказано: «Напрасно вы не обратились к вашему психоаналитику сразу, как только кошмары стали усиливаться». Он ответил, что у него во владении нет такового. Доктор терпеливо разъяснил, что употребил местоимение не в притяжательном смысле, а как бы по-домашнему, – например, в объявлениях пишут: «Обращайтесь к вашему бакалейщику». А что Арманда, она когда-нибудь советовалась с психоаналитиком? Если речь идет о миссис Персон, а не о кошке или о ребенке, то ответ будет «нет». В юности она, кажется, интересовалась необуддизмом и подобного рода вещами. В Америке новые друзья пытались заставить ее пройти курс, как вы говорите, «анализа», – она отвечала, что, может быть, попробует, когда закончит свои восточные штудии.

Ему было указано, что ее называли по имени лишь с целью создания интимной атмосферы. Всегда так делается. Не далее как вчера, например, удалось заручиться полным доверием одного узника, которому было сказано: «Расскажи лучше дяде свои сны, а не то получишь

вышку». Нужно еще, между прочим, довыяснить, проявлялось ли у Хью, или вернее у мистера Персона, в сновидениях агрессивное влечение. Нужно, между прочим, сначала выяснить значение самого термина. Скульптор может сублимировать агрессивное влечение, круша молотком и долотом неодушевленный предмет. Особенно благоприятную возможность освободиться от агрессивного влечения предоставляет хирургия. Один уважаемый, хотя и не всегда удачливый хирург раз в частной беседе признался, как трудно сдержаться во время операции и не начать резать все, что подвернется под руку. У каждого с детства подспудно накапливается какое-то напряжение. Не надо этого стыдиться. Появление похоти при половом созревании не что иное, как вытеснение влечения к убийству, обычно удовлетворяемого во сне, а бессонница – это просто боязнь узнать о своей бессознательной жажде секса и крови. Около восьмидесяти процентов сновидений взрослых мужчин – эротические. Смотри работы Клариссы Дарк, в одиночку обследовавшей около двухсот здоровых заключенных. Число ночей, проведенных в спальном корпусе Центра, им, разумеется, зачли. И что же? У ста семидесяти восьми наблюдались мощные эрекции во время фазы сна, именуемой «гарем», которая сопровождается сновидениями, вызывающими похотливое вращение зрачка (нечто вроде внутреннего поглаживания). Между прочим, с каких пор мистер Персон стал ненавидеть миссис Персон? Нет ответа. Может быть, ненависть входила в их отношения с самого начала? Нет ответа. Он ей когда-нибудь дарил свитер с отложным воротником? Нет ответа. Не был ли он раздражен, когда она сказала, что воротник жмет ей горло?

– Если вы сейчас же не перестанете лезть ко мне со всей этой мерзкой чушью, – сказал Хью, – меня стошнит.

17

Будем говорить о любви.

Какие действенные слова, какие стрелы хранятся там. в горах, в подобающем месте, в особых тайниках гранитного сердца, за стальными стенами, замаскированными под окружающие пятнистые скалы! Но когда в недолгие дни ухаживания и женитьбы дело доходило до объяснения в любви, Хью Персон не знал, где найти слова, трогательные и убедительные, от которых на ее суровых темных глазах заблестят яркие слезы. И напротив, на какое-то слово, оброненное без претензий на пронзительность и поэзию, на какую-нибудь самую расхожую фразу эта сухая, глубоко несчастная женщина вдруг отзывалась истерией счастья. Сознательные попытки проваливались. Если иногда случалось, что в момент уныния он, оторвавшись от книги, без всяких эротических намерений шел в ее комнату и, упираясь в пол коленями и локтями, начинал к ней ползти, словно спустившийся с дерева и впавший в иступление представитель неизвестного науке вида ленивцев, то Арманда холодно приказывала ему встать, и перестать валять дурака.

Самые пылкие обращения; какие он мог придумать – моя принцесса, моя любимая, мой ангел, моя антилопа, мой резвый зверек, – лишь приводили ее в отчаяние.

– Почему, – вопрошала она, – ты не можешь говорить со мной по-человечески, как воспитанный мужчина с дамой? Почему ты должен всегда паясничать? Почему ты не можешь говорить всерьез, – просто и нормально?

– Но что может быть ненормальнее любви, – отвечал он, – нормальная жизнь – это бред, нормальные люди над любовью смеются. – Он пытался поцеловать подол ее юбки, укусить складку на брюках, подъем, палец ее разъяренной ноги, но чем сильнее он пресмыкался, бормоча своим немзыкальным голосом как бы самому себе на ухо слюнявые, редчайшие, экзотические, обычные слова, обозначающие все и ничего, – тем больше простое объяснение в любви превращалось в пародию на брачные танцы птиц, исполняемые одним петушком без всякой курочки на горизонте, – длинная шея выпрямляется, потом сгибается, словно ныряет вниз, снова прямая шея. Он стыдился самого себя, но не мог остановиться, а она не могла этого понять, ибо он в таких случаях никогда не умел найти верных слов, принести в клюве нужную травинку.

Он любил ее. несмотря на ее полную непригодность быть любимой. У Арманды было много тяжелых, хотя и не столь уж редких черт характера, которые он воспринимал как безумные ключи к разумному ребусу. Она кричала на свою мать по-русски: скотина. – не зная, конечно, что после отъезда с Хью за океан, за смертью, больше никогда ее не увидит. Она любила устраивать тщательно продуманные вечера, и, каков бы ни был срок давности той или иной изящной ассамблеи (десять, пятнадцать месяцев назад или еще раньше, до свадьбы, в доме матери в Брюсселе или в Витте), каждая вечеринка, каждая тема, с ней связанная, навсегда сохранялась в звенящем морозе ее чисто прибранного сознания. Приемы эти мерцали в ее памяти, как звезды на занавесе пульсирующего прошлого, а гости представлялись ей дальними форпостами на границах ее собственной личности, уязвимыми, плохо защищенными и потому заслуживающими ностальгического уважения. Если Джулия или Юния между прочим замечали, что не знакомы с Ш., художественным критиком (шурином покойного Шарля Шамара), хотя и Джулия и Юния, как значилось в ее анналах, встречались с ним у нее на вечеринке, она могла очень разозлиться и, презрительно растягивая слова, изобличала ошибку, потом, изгибаясь, словно танцевала танец живота, добавляла: «Тогда вы, наверное, забыли и пти-фуры от Отца Игоря{22} (какой-то особый магазин), которые вам так понравились». Хью впервые в жизни имел дело с таким ужасным характером, с таким болезненным amour-propre, [37] с такой на себе замкнутостью. Джулия, катавшаяся с ней на лыжах и коньках, говорила, что она «душка», но большинство женщин относились к ней скептически и, болтая по телефону, посмеивались над ее довольно жалкими приемами нападения и защиты. Если кто-нибудь начинал говорить: «За два-три дня до того, как я сломала ногу...» – она врывалась в разговор с торжествующим «а я в детстве сломала обе ноги!». К мужу она при людях по каким-то таинственным причинам обращалась ироническим и вообще весьма неприятным тоном.

У нее были странные причуды. В последнюю ночь их медового месяца в Стрезе (издательство настаивало на его возвращении) она вдруг решила, что именно последние ночи в гостиницах без пожарных лестниц статистически наиболее опасны, а их гостиница, массивная и старомодная, действительно выглядела весьма горючей. Телевизионные продюсеры почему-то считают, что ничего нет более фотогеничного и впечатляющего публику, чем добрый пожар. Насмотревшись новостей по итальянскому телевидению, Арманда не то притворилась (она любила казаться интересной), не то действительно была взволнована одним таким бедствием, показанным на местном экране, – маленькие язычки, как слаломные флажки, большие – как неожиданные дьяволы, пересекающимися дугами хлещет вода, как из сотни барочных фонтанов, бесстрашные пожарные в блестящих прорезиненных комбинезонах отдают бессмысленные команды в этой фантазмагории дыма и разрушения. В ту ночь в Стрезе она потребовала, чтобы они прорепетировали (он – в спальнях трусах, она в пижаме «чудо-дзюдо») акробатическое бегство сквозь бурю и мрак, спустившись по аляповатому фасаду гостиницы с пятого этажа на третий, а оттуда – на крышу галереи, окруженную качающимися, протестующими деревьями. Тщетно Хью пытался ее урезонить. Наша буйная скалолазка уверяла его, что все это можно проделать, используя для опоры различные гипсовые украшения, щедро разбросанные выступы и маленькие обрешеченные балкончики, будто специально приготовленные для безопасного спуска. Она приказала Хью следовать за ней и светить сверху электрическим фонариком; предполагалось также, что он не будет от нее отдаляться, чтобы при необходимости поддержать ее на весу, если ей надо будет вытянуться во весь рост и нащупать босой ногой следующую ступеньку.

Хью, обладая сильными передними конечностями, был, однако, на редкость неприспособленным человекообразным. Он совершенно испортил все дело. Он застрял на карнизе прямо под их балконом. Свет от его фонарика беспорядочно порхал по небольшому участку фасада, потом фонарик выпал у него из рук. Со своего наместа он взывал к ней, умоляя вернуться. Под его ногой вдруг неожиданно распахнулся ставень. Хью удалось залезть обратно на свой балкон, откуда он продолжал выкликать ее имя, хотя теперь-то уж был абсолютно убежден, что она погибла, а Арманда тем временем пребывала в одной из комнат четвертого этажа, где в конце концов и нашел ее Хью – закутанная в одеяло, она мирно покуривала, разлегшись на постели неизвестного мужчины, а тот читал журнал, сидя в кресле возле кровати.

Ее сексуальные странности приводили Хью в отчаянье. За время путешествия он с ними успел познакомиться, – а когда капризная новобрачная обосновалась в его нью-йоркской квартире, ее прихоти стали частью домашнего обихода. Арманда постановила заниматься любовью всегда в одно и то же время, перед вечерним чаем, в гостиной, словно на воображаемой сцене, сопровождая процесс непрекращающейся болтовней, причем оба партнера должны быть приодеты – он в своем лучшем костюме, при галстук в горошек, она – в элегантном глухом черном платье. Как уступка природе разрешалось приспускать нижнее белье, но самым незаметным образом, не прерывая беседы ни малейшей паузой. Нетерпение объявлялось непристойным, какое-либо обнажение – чудовищным. Приготовления, без которых бедняге Хью никак было не обойтись, следовало скрывать с помощью

газеты или книги, взятой с журнального столика, и горе ему, если во время самого действия он морщился или совершал какой-нибудь промах; но еще неприятнее, чем скатавшееся белье, страшно давящее в защемленном паху, или шуршащее соприкосновение с гладкой броней ее чулок, была необходимость, полусидя в перекрученном положении на неудобном диванчике, непрерывно вести пустой разговор о знакомых, политике, знаках Зодиака, прислуге, тем временем доводя пикантную работу – проявления спешки запрещались категорически – до последних содроганий. Хью, отличаясь умеренной мужской силой, наверное, не перенес бы пытки, если бы она более тщательно, чем ей казалось, скрывала возбуждение, в какое ее приводил контраст между воображаемым и действительным – контраст, как бы там ни было, наделенный своего рода художественностью, особенно если вспомнить обычаи некоторых дальневосточных народов, сущих простофиль во многих других отношениях. Однако еще больше его поддерживало ни разу не обманутое ожидание того момента, когда гримаса ошеломленного восторга начнет постепенно придавать идиотическое выражение ее родным чертам, как бы она ни пыталась сохранить светский тон. В некотором смысле он даже предпочитал обстановку гостиной той, еще более ненормальной ситуации, когда она, желая изредка, чтобы он ею обладал в постели, под одеялом, тем временем разговаривала по телефону, сплетничая с подружкой или разыгрывая какого-нибудь незнакомого мужчину. Способность Персона прощать все это, находить разумные объяснения и так далее делает его для нас еще милей, но иногда, увы, вызывает и откровенный смех. Например, он убеждал себя, что раздеваться она отказывается, потому что стесняется своих маленьких надутых грудок и шрама на бедре, оставшегося после падения на лыжах. Глупый Персон!

Была ли она ему верна в течение месяцев брака, проведенных в легкомысленной, распушенной, веселой Америке? В первую и последнюю зиму своего замужества она несколько раз ездила без него кататься на лыжах в Аваль (Квебек) и в Чут (Колорадо){23}. Оставаясь один, он запрещал себе воображать банальности измены, – как она позволяет парню взять себя за руку или поцеловать, прощаясь перед сном, – картины для него ничуть не менее мучительные, чем самая страстная постельная сцена. Стальная дверь присутствия духа оставалась надежно замкнутой, но едва она появлялась на пороге, загорелая и сияющая, подтянутая, как стюардесса в своем синем жакете с плоскими пуговицами, сверкающими, как золотые жетоны, – дверца распахивалась и дюжина гибких молодых атлетов, пожирая глазами его жену, заводила хоровод вокруг нее во всех придорожных приютах его фантазии, хотя на самом деле, как мы знаем, она в полной мере согрешила лишь дюжину раз за компанию с Мари, Хуаной и их друзьями{24}, чей узкий круг на курорте не расширился.

Всем, и особенно ее матери, так и осталось совершенно непонятно, почему Арманда вышла замуж за довольно обыкновенного американца с довольно средним достатком, но нам пора заканчивать разговор о любви.

Во вторую неделю февраля, примерно за месяц до того, как их разлучила смерть, Персоны полетели на несколько недель в Европу: Арманда – к матери, умирающей в бельгийской больнице (верная дочь прибыла слишком поздно), Хью – навестить, по просьбе издательства, господина R. и еще одного американского писателя, тоже живущего в Швейцарии{25}. Шел сильный дождь, когда он высадился из такси у большого, старого, некрасивого дома R. над Версексом. Он поднялся по усыпанной гравием дорожке, вдоль которой с двух сторон бежали пузырящиеся потоки дождевой воды. Входная дверь была приоткрыта, и, вытирая ноги о коврик, он с приятным удивлением увидел в холле Джулию Мур, стоящую к нему спиной у столика с телефоном. Он узнал ту же, что и прежде, прелестную мальчишескую стрижку и оранжевую блузку. Когда он кончил вытирать ноги, она положила трубку и оказалась совершенно иной девушкой.

– Простите, что заставила вас ждать, – сказала она, устремив на него улыбающийся взгляд. – Я заменяю мистера Тамворта, пока он отдыхает в Марокко.

Хью Персон прошел в библиотеку – удобно обставленную, но недостаточно освещенную комнату, решительно старомодного вида, уставленную энциклопедиями, словарями, справочниками и авторскими экземплярами авторских книг в многочисленных изданиях и переводах. Он уселся в складное кресло и достал из портфеля перечень вопросов для обсуждения. Главные вопросы были таковы: как в рукописи «Трансля-тиций» загризировать ряд слишком узнаваемых персонажей и что делать с заглавием, невозможным с коммерческой точки зрения.

В этот момент вошел R. Он уже три или четыре дня не брился, на нем был нелепый синий комбинезон, в котором, как он считал, удобно размещать различные орудия труда – карандаши, шариковые ручки, три пары очков, карточки, шиватель, клейкую ленту и невидимый миру кинжал, который он после нескольких приветственных слов приставил к горлу Персона.

– Я только могу повторить, – сказал он, падая в кресло, освобожденное Хью, которому он указал на такое же кресло напротив, – то, что уже не раз говорил. Можно выхолостить кошку, но не моих персонажей. Что касается названия, которое есть не что иное, как в высшей степени респектабельный синоним слова «метафора», то никакие ретивые жеребцы его из-под меня не вырвут. Мой врач посоветовал Тамворту запереть погреб, что тот и сделал, а ключ спрятал, а дубликат будет готов только в понедельник, а я, знаете, слишком горд, чтобы покупать дешевые вина в поселке. Поэтому все, что я могу предложить – ты уже заранее качаешь головой, сынок, и правильно делаешь, – это банка абрикосового сока. Теперь поговорим о советах и клеветах. Ваше письмо, сударь, довело меня до зеленого каления. Меня обвиняют в том, что я порчу невинных девушек, но если позволите каламбур, то портить своих невидных детушек я не позволю.

Он пустился в объяснения, что если настоящий художник решил создать образ, восходящий к здравствующему человеку, то любые изменения с целью замаскировать сходство равносильны убийству прототипа, как, знаете, втыкают булавку в глиняную куклу, и девушка в соседнем доме падает мертвой. Если речь идет о произведении подлинно художественном, если в его мехах не только вода, но и вино, оно становится в определенном смысле неуязвимым, зато в другом – очень хрупким. Хрупким, потому что робкий издатель, заставляя художника менять «стройную» на «полную» или «брюнетку» на «блондинку», искажает не только сам образ, но и нишу, в которую он поставлен, и, стало быть, весь выстроенный храм; неуязвимо же оно потому, что, как бы решительно образ ни изменяли, прототип все равно будет опознан по форме дыры, остающейся в ткани повествования. Но помимо всего прочего, сами субъекты, выведенные им в книге, люди хладнокровные и не станут трубить о себе и своем возмущении. На самом деле им будет скорее приятно с видом немножко знатоков, как говорят французы, слушать всевозможные пересуды в литературных салонах.

Вопрос же о названии «Транс-ля-тиций» – это совсем другая уха. Читатели не догадываются, что названия бывают двух типов. Названия первого типа тупой автор или умный издатель придумывают, когда книга уже написана. Это – просто этикетка, намазанная клеем и пристукнутая кулаком, чтобы держалась. Таковы названия большей и худшей части бестселлеров. Но бывают заглавия и другого рода. Такое заглавие просвечивает сквозь книгу, как водяной знак, – оно рождается вместе с книгой; автор настолько привыкает к нему за годы, пока растет стопка исписанных страниц, что оно становится частью всего и целого. Нет, мистер R. не может пожертвовать «Транс-ля-тициями». Хью, набравшись храбрости, заметил, что язык требует убрать третий слог.

– Невежественный язык! – загремел мистер R.

Хорошенькая секретарша заглянула в комнату и объявила, что ему нельзя уставать и волноваться. Поднявшись с усилием, великий человек теперь стоял, подрагивая и ухмыляясь, и протягивал большую волосатую руку.

– Итак, – сказал Хью, – я, конечно, передам Филу, как болезненно вы отнеслись к его замечаниям. До свидания, сэр. На будущей неделе вы получите макет обложки.

– Прощайте, прощайте, скоро увидимся, – сказал мистер R.

Подав им роскошный ужин (может быть, чересчур изысканный, зато не слишком плотный – оба были умеренны в еде), толстуха Полина, femme de ménage, [38] обслуживающая, кроме того, бельгийского скульптора живущего в мастерской на чердаке прямо у них над головой, вымыла посуду и ушла в обычное время (девять пятнадцать или около того). Поскольку у нее была раздражительная склонность застревать перед телевизором, Арманда всегда дожидалась ее ухода, а потом уже крутила его в свое удовольствие. Теперь она его включила, дала ожить, пробежалась по нескольким каналам и с презрительным фырканьем убила изображение (ее телевизионные вкусы отличались полным отсутствием логики, она могла методично, со страстью, каждый вечер смотреть одну и ту же программу, потом целую неделю не подходить к телевизору, словно наказывая это чудесное изобретение за проступок, никому, кроме нее, не ведомый, – Хью старался не вникать в ее таинственные ссоры с дикторами и актерами). Она раскрыла книгу, но в этот момент позвонила жена Фила и пригласила пойти с ней завтра на генеральную репетицию какой-то лесбийской пьески с актрисами-лесбиянками. Они проговорили двадцать пять минут – Арманда – доверительным полушепотом, а Филлис столь звучно, что Хью, сидя за круглым столом над стопкой гранок, мог бы, если бы пожелал, прослушать обе составные части потока тривиальностей. Но ему вполне хватило резюме, сделанного Армандой, когда она вернулась на свое место – на обитый серым плюшем диванчик у ложного камина. Как обычно, около десяти часов сверху вдруг раздались пренеприятные звуки: глухие удары, потом скрежет – это кретин бельгиец перетаскивал тяжелую загадочную скульптуру (значащуюся в каталогах как «Полина анида»{26}) с середины мастерской в угол, где она проводила ночь. В ответ Арманда, как всегда, уставилась на потолок и заметила, что она давно бы пожаловалась двоюродному брату Фила (управляющему домом), не будь сосед таким радушным и услужливым мужчиной. Когда снова воцарился покой, она стала искать книгу, которую держала в руках в момент телефонного звонка. Муж ее неизменно испытывал прилив особой нежности, примирявшей его со скукой, грубостью и уродством того, что не очень счастливые люди называют «жизнь», всякий раз, когда в аккуратной, деловой, хладнокровной Арманде проступал прекрасный лик беспомощной человеческой рассеянности. Он нашел и вручил ей предмет ее отчаянных поисков (книга лежала на журнальной полочке возле телефона), получив за это разрешение благоговейными губами прикоснуться к ее виску и пряди светлых волос. После этого он вернулся к гранкам «Транс-ля-тиций», а она к своей книге – это был путеводитель по Франции с указанием множества отличных ресторанов, помеченных вилками и звездочками, но не столь уж многих «приятных, спокойных, хорошо расположенных гостиниц» с тремя или более башенками, а иногда и сидящей на ветке маленькой красной птичкой.

– Какое смешное совпадение, – сказал Хью. – Один его герой в довольно непристойном отрывке – а кстати, как надо писать: «Savoie» или «Savoys»?{27}

– Какое совпадение?

– Ах да, один из героев тоже листает «Мишлен»{28} и говорит: «Далек же путь от Гондона в Гаскони до Вагино в Савоие».

– «Савой» это гостиница, – сказала Арманда и дважды зевнула, сначала не разжимая челюстей, потом откровенно. – Не знаю, почему я так устала, – сказала она, – зато я знаю, что вся эта зевота только сбивает сон, и больше ничего. Надо сегодня попробовать новое снотворное.

– Лучше представь, что ты несешься на лыжах по очень гладкому склону. Я в молодости пытался, чтобы заснуть, мысленно играть в теннис – это часто помогало, особенно если мячи новые и очень белые.

Она еще немного помедлила, над чем-то задумавшись, потом заложила книгу ленточкой и отправилась на кухню за стаканом.

Хью любил дважды читать корректуру – один раз, исправляя опечатки, другой – вникая в смысл. Он предпочитал сначала делать механическую правку, а уж потом наслаждаться содержанием, в какое он сейчас и углубился, но даже специально не выискивая опечаток, он все-таки время от времени находил пропущенные «ляпы» наборщика и свои собственные. Кроме того, он позволял себе на полях второго экземпляра (предназначенного для автора) с большой осторожностью отмечать некоторые вызывающие особенности стиля и правописания в надежде, что великий человек поймет, что сомневается он не в его гении, а в его грамматике.

После долгого совещания с Филом было решено пойти на риск судебных исков и не обращать внимания на откровенность, с какой R. рисовал свои запутанные любовные истории. Он «уже однажды заплатил за это одиночеством и угрызениями совести, и готов теперь заплатить твердой валютой любому дураку, которого может задеть его книга» (сокращенная и упрощенная цитата из его последнего письма). В длинной главе, куда более фривольной (при этом замечательно написанной), чем любые скабрёзности модных писателей, которых он высмеял, R. красочно изобразил, как мать и дочь награждают редкостными ласками своего молодого любовника на горном уступе над романтической пропастью и в некоторых других местах, не столь опасных. С миссис R. Хью был знаком недостаточно близко, чтобы говорить о ее сходстве с матроной – героиней книги (отвислые груди, рыхлые бедра, медвежье сопенье во время копуляции и т. д.); но дочь своими манерами, жестами, шепотком и множеством других черт (всех он, может быть, и не знал наперечет, но в общую картину они вписывались) была копией Джулии, хотя автор все-таки сделал ее светловолосой и свел печать евразийства с ее красоты. Хью читал внимательно и с интересом, но в прозрачном потоке повествования все еще проглядывали редкие ошибки, и он то ставил новые знаки (как некоторые из нас пытаются делать), то выделял курсив, и глаза его и позвоночник (главный орган настоящего читателя) скорее сотрудничали, чем мешали друг другу. Иногда он не понимал смысла фразы, ломая голову, что такое «римиформный»^{29} или «баланская слива»^{30}, – а может, после «л» вставить «к»? Дома у него был не такой полный словарь, как тот, огромный, тома которого громоздились у него на службе, и он споткнулся о такие заковыки, как «все золото кевогого дерева»^{31} и «пятнистые небриды»^{32}. Он поставил знак вопроса над средней частью имени проходного персонажа «Адам von Либриков»^{33}, потому что немецкая частица противоречила остальному, а может быть, все сочетание было искусной шуткой? В

конце концов он вопросительный знак вычеркнул, зато в другом месте восстановил «царство Канута»^{34}: смиренная корректорша, до него читавшая гранки, предложила удалить в последнем слове либо «у», либо, на худой конец, «а», – она, как и Арманда, была русского происхождения.

Наш Персон, любезный наш читатель, не был уверен, что полностью принимает грубость и роскошество стиля R., лучшие образцы которого (например, «серая радуга мутно-туманной луны») – казались ему поистине манной небесной. Он поймал себя на том, что из вымышленного сюжета пытается вывести, в каком возрасте и при каких обстоятельствах писатель растлил Джулию: неужели еще в детстве, когда он (одна из самых восхитительных сцен романа!) – щекотал ее в ванночке, целуя мокрые плечи, а потом, в один прекрасный день, завернул в огромное полотенце и утащил к себе на ложе? Или же он флиртовал с ней в первый год ее студенчества, когда ему заплатили две тысячи долларов за выступление в огромном зале, битком набитом университетской и прочей публикой, – он прочел тогда старую новеллу, много раз напечатанную, но действительно замечательную. Как хорошо иметь такого рода талант!

20

Был уже двенадцатый час ночи. Он выключил в гостиной свет и открыл окно. Ветреная мартовская ночь на ощупь пробралась в комнату. За припущенной шторой неоновая реклама ДОППЛЕР переключилась на лиловый свет, осветив мертвую белизну бумаг, оставшихся на столе.

Он подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и тихонько двинулся в соседнюю комнату. О том, что она заснула, обычно свидетельствовал громовой храп. Удивительно, как может такая тонкая и деликатная женщина выдавать столь поразительные вибрации. В начале их брака Хью побаивался, что она будет храпеть всю ночь, но, как оказалось, уличный шум, или перебой в собственном сне, или робкий муж, решившийся потихоньку прочистить горло, – потом заставляли ее вздрогнуть, вздохнуть, может быть, причмокнуть губами или повернуться на другой бок, после чего она спала уже беззвучно. На этот раз ритм сна, по-видимому, успел измениться, пока он еще работал в гостиной, и теперь, боясь повторения цикла, он старался раздеваться как можно тише. Потом он вспоминал, что пытался очень осторожно вытащить исключительно скрипучий ящик (обычно он не слышал его голоса), чтобы достать чистую пару панталон, которые вместо пижамы надевал на ночь. Он шепотом выругался, услышав дурацкий жалобный вскрик старого дерева, и не стал запихивать ящик обратно, но как только он двинулся на цыпочках к своей половине постели, заскрипели половицы. Разбудил ли ее шум? Да, но не до конца – по крайней мере, оттаяло маленькое пятнышко на заиндевевшем стекле, и она что-то пробормотала про свет. На самом деле темноту прорезал

всего один косой луч из гостиной, дверь в которую он оставил открытой. Он тихо ее прикрыл и на ощупь направился к кровати. Некоторое время он лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к другому назойливому слабому звуку – звуку воды, капающей на линолеум из прохудившейся трубы отопления. Выходит, вы боялись, что вам предстоит бессонная ночь? Не совсем. Вообще, ему очень хотелось спать, не нужны были даже подозрительно сильнодействующие таблетки «Морфи», которые он время от времени принимал. Но, несмотря на сонливость, он чувствовал, что его берут в окружение несколько тревожных мыслей. Каких мыслей? Обыкновенных, ничего страшного. Хью лежал на спине, выжидая, пока они сойдутся вместе, и они сошлись в унисон с бледными пятнами, незаметно прокравшимися на свои привычные места на потолке – глаза привыкали к темноте. Он думал о том, что жена опять симулировала женское недомогание, чтобы от него отвязаться; что она, наверное, и во многом другом его обманывает; что он ей тоже в каком-то смысле изменил, скрыв, что провел ночь с другой женщиной – с точки зрения времени, это было до брака, а с точки зрения пространства – в этой самой комнате; что готовить к печати чужие книги – значит губить свой собственный мозг; что ни повседневная работа, ни постоянные разочарования не имеют никакого значения перед лицом все растущей, все более нежной любви к жене; что в следующем месяце надо будет показаться главному врачу. Хью заменил неправильную букву на «в» и стал дальше смотреть пестрящую поправками корректуру, в которую за его закрытыми веками превращалась темнота. Двойная систола стремительно вернула его к бодрствованию, и он пообещал своей неисправившейся личности довести ежедневное потребление сигарет до двух сердечных ударов.

– И потом вы отключились?

– Да. Может быть, я еще попытался поймать строчку-другую текста, но – да, я заснул.

– Вероятно, прерывистым сном?

– Нет, напротив, глубже я не спал никогда. Видите ли, предыдущая ночь была у меня почти бессонная.

– О'кей. Не знаю, осведомлены ли вы, что тюремные психологи-криминалисты изучают, кроме всего прочего, ту область танатологии{35}, которая связана со средствами и методами насильственной смерти?

Персон издал слабый звук, изображающий отрицание.

– Хорошо – поставлю вопрос по-другому: полицию интересует орудие, которым пользовался преступник; танатолог хочет знать, как и почему оно было использовано. Это понятно?

Подобный же ответ – утвердительный.

– Всякое орудие есть... ну, скажем, орудие. Оно может быть неотъемлемой частью работника, как, например, угольник столяра. Или из плоти и крови, как вот они (похлопав Хью по рукам, укладывает их

на свои ладони, словно выставляя для обозрения или готовясь приступить к какой-то детской игре).

Ручищи Хью были возвращены ему, как две пустые миски. Далее ему было объяснено, что для удушения молодой особы могут применяться два метода: любительская, не слишком эффективная фронтальная атака и более профессиональный захват сзади. В первом случае шея жертвы крепко сдавливается восемью пальцами, в то время как большие пальцы зажимают его (или ее) горло; при этом остается риск, что он или она схватят душащего за запястья или отразят нападение каким-нибудь другим способом. Второй, более надежный путь состоит в том, что большие пальцы крепко упираются в шею юноши или, предпочтительно, девушки сзади, а остальные восемь нажимают на горло. Первый метод мы условно называем «Pouse», [39] второй – «Пианист». Мы знаем, что вы напали с тыла, но тогда возникает вопрос: почему, когда вы планировали задушить свою жену, вы избрали именно «Пианиста»? Может быть, вы инстинктивно чувствовали, что внезапный и сильный захват дает наибольшие шансы на успех? Или у вас были какие-то другие, субъективные соображения – например, вы считали, что вам будет неприятно в ходе операции следить за сменами лицевого выражения?

Он ничего не планировал. Весь этот ужас совершился автоматически, во сне, он ведь очнулся, только когда оба они приземлились на полу у кровати.

Он говорил, что ему снился пожар?

Это правда. Все было охвачено пламенем, и если что-то и можно было разглядеть, то сквозь пунцовые прозрачные пластиковые язычки. Его случайная подружка широко распахнула окно. Кто она? Гостья из прошлого – проститутка, подобранная им во время первого заграничного путешествия лет двадцать назад, бедная девочка-полукровка, хотя вообще-то американка и очень милая, звали ее Джулия Ромео{36}, что на староитальянском языке означает «паломник»{37}, но тогда все мы паломники, а сны – анаграммы дневного существования. Он рванул за ней, чтобы не дать ей выпрыгнуть. Окно было большое и низкое, с большим подоконником, обитым толстой тканью, как водится в этой стране огня и льда. Какие там ледники, какие рассветы! Все светящееся тело Джулии, она же Жюли, облегла доплерова комбинация{38}. Она простерлась на подоконнике, широко раскинув руки, которыми дотрагивалась до раскрытых рам. Он глянул сквозь нее, – там, далеко внизу, в пропасти двора или сада, такие же языки пламени двигались, как полоски красной бумаги, которые невидимый вентилятор вздымает над дровами из папье-маше в праздничных рождественских витринах заметенного снегом детства. Выпрыгнуть из окна или спуститься с карниза по связанным простыням (длинношея фламандско-средневекового вида приказчица демонстрировала технику связывания в зеркальном заднике его сна) показалось ему безумием, и бедный Хью попытался остановить свою Джульетту. Стараясь покрепче ее схватить, он вцепился ей в шею, большие пальцы с квадратными ногтями врезались в освещенный фиолетовым светом затылок, остальные восемь – сжали горло. На экране кинотеатра учебных фильмов по другую сторону двора или улицы показали дергающуюся в конвульсиях трахею, все же остальное перестало внушать какие-либо опасения: он удобно

пристроился к Джулии и спас бы ее от верной гибели, если бы она, одержимая самоубийственной жадой спастись от огня, не соскользнула с подоконника и не унесла его за собой в пустоту. Ну и падение! Какая глупая Джулия! Какое счастье, что Мистер Ромео продолжал своею мертвой хваткой скручивать и крушить этот кричащий и хрипящий хрящ, просвечиваемый рентгеном толпящимися на улице пожарниками и высокогорными проводниками. Как они летели! Супермен, несущий младую душу в своих объятьях{39}.

Удар при падении оказался не столь сильным, как он ожидал. Это, Персон, какая-то бравурная пьеса, а не сон душевнобольного. Придется подать на вас докладную записку. Он ушиб локоть, а ночной столик упал вместе с лампой, стаканом, книгой; но хвала Искусству – она невредима, она с ним рядом, она лежит спокойно. Он нащупал упавшую лампу) и засветил ее в этом необычном положении. Мгновение он не мог понять, что тут делает его жена, лежа ничком на полу, с распущенными, словно в полете, волосами. Потом он уставился на свои робкие руки.

21

Дорогой Фил!

Это, без всякого сомнения, мое последнее письмо Вам. Я Вас покидаю. Я уйду к другому, еще более великому Издателю. Там ангелы станут вычитывать мои рукописи или черти – множить опечатки, в зависимости от того, к какой редакции припишут мою бедную душу. Итак, прощайте, дорогой друг, и пусть Ваш наследник повыгодней продаст это письмо на аукционе.

Голо-графичность его объясняется тем, что я не хочу, чтобы его прочитал Том-Там или кто-то из его мужского пола машинисток. Я смертельно болен и лежу после неудачной операции в единственной отдельной палате Болонского госпиталя. Юная сестра милосердия, которая любезно согласилась отправить это письмо, рассказала мне, сопровождая повесть ужасными режущими жестами, нечто такое, за что я заплатил ей столь же щедро, как вознаградил бы ее иные милости, будь я еще мужчиной. На самом же деле принести весть о грядущей кончине неизмеримо ценнее, чем принести свою честь в дар возлюбленному. Если верить моему волоокому шпиону, Великий хирург, чтоб его собственная печенька лопнула, соврал мне, когда вчера, осклабясь, словно череп, объявил, что операция[40] прошла perfetto.[41] Что ж, это верно в том смысле, в котором Эйлер{40} называл ноль совершенным числом. Они разрешили мне живот и, придя в ужас от моей испорченной *fegato*, [42] зашили меня, даже до нее не дотронувшись.

Не стану беспокоить Вас проблемами, связанными с Тамвортом. Жаль, что Вы не видели самодовольной гримасы на длинных губах этого

бородатого типа, когда он навел на меня сегодня утром. Как Вы знаете – а это знают все, даже Мэрион, – он пролез в мои дела, заползая в каждую щелку, подбирая каждое мое слово с немецким акцентом, так что теперь он может быть таким же Босуэллом{41} мертвеца, каким был боссом живого. Одновременно я пишу нашему с Вами адвокату о мерах, которые надо принять после моего отплытия, чтобы пресекать Тамворту каждый шаг по намеченному им лабиринту.

Единственное дитя, которое я любил, – это восхитительная, глупая, неверная Джулия Мур. Каждый цент и сантиметр, которым я владею, и все остатки рукописей, которые еще удастся вырвать из когтей Тамворта, должны перейти к ней, несмотря на все двусмысленные темноты в моем завещании: Сэм поймет, на что я намекаю, и будет действовать соответственно.

Две последние части моего Опуса в Ваших руках. Я очень огорчен, что изданием будет заниматься не Хью Персон. Отвечая на мое письмо – ни слова о том, что Вы его получили, – вставьте туда, словно Вы просто сплетничаете, какие-нибудь сведения о нем – пусть они будут нашим кодом: почему, например, он год – или больше? – просидел в тюрьме, если установлено, что он действовал в состоянии эпилептического транса; почему после пересмотра дела и признания его невиновным он был переведен в больницу для душевнобольных преступников и почему следующие пять или шесть лет он болтался между тюрьмой и сумасшедшим домом, пока не стал пациентом частной клиники? Как можно, не будучи знахарем, лечить от дурных снов? Пожалуйста, все это мне сообщите, потому что Персон – один из самых прелестных персонажей, с какими мне доводилось иметь дело, и еще потому, что в своем письме о нем Вы сумеете контрабандой провезти всевозможные тайные сведения для несчастного бедняги.

Несчастный бедняга – воистину лучше не скажешь! Бедная моя печень тяжела, как отвергнутая рукопись. Страшную гиенообразную боль им удастся заглушать частыми инъекциями, но так или иначе она всегда присутствует за стеной моей плоти, словно приглушенный гром непрерывной лавины, которая там, вне меня, уничтожает структуры моего воображения, пограничные столбы моей сознательной личности. Это смешно – но раньше я думал, что умирающие видят тщету мира, бесполезность славы, страсти, искусства и так далее. Я думал, что хранящиеся в их сознании сокровища воспоминаний превращаются в радужную дымку, но сейчас я ощущаю противоположное: самые мои обыденные чувства и подобные же чувства других людей приобрели для меня гигантские масштабы. Вся Солнечная система – лишь отражение в хрусталике моего (или Вашего) хронометра. Чем более я умаляюсь, тем я становлюсь грандиознее. Мне кажется, это случай необычный. Абсолютное отрицание всех религий, когда-либо выдуманных человеком, и абсолютное спокойствие перед лицом абсолютной смерти! Если бы я мог объяснить этот тройственный абсолют в одной большой книге, она стала бы, без сомнения, новой Библией, а ее автор – создателем новой веры. К счастью для моего самоуважения, книга эта никогда не будет написана – не просто потому, что умирающие не пишут книг, но оттого, что Ваш покорный умирающий слуга никогда не умел одним проблеском выразить то, что может быть понято только непосредственно.

Примечание, добавленное адресатом:

Получено в день смерти писателя. Подшить к Почившим.

22

Персон ненавидел вид и ощущение своих ног, на редкость чувствительных и неизящных. Даже став взрослым, он, раздеваясь, избегал на них смотреть. Поэтому он не впал в американскую манию ходить дома босиком – отбрасывающую, минуя детство, к более простым и счастливым временам. Какая занозистая дрожь пробирала его при мысли о ногте, зацепившемся за шелк носка (шелковых носков тоже больше нет) – так женщина вздрагивает, когда скрипит оконное стекло. Они были мосласты и слабы, они всегда болели. Визит в обувной магазин для него мало чем отличался от похода к зубному врачу. Он с неприязнью поглядел на покупку, сделанную в Бриге по дороге в Витт. Ничто не бывает завернуто с такой дьявольской аккуратностью, как коробка с обувью. Он разрядил нервы, сорвав с нее бумагу. Эту пару отвратительно тяжелых коричневых горных сапог он уже примерял в магазине. Размер, несомненно, был его, и столь же несомненно они были далеко не так удобны, как уверял продавец. Да, по ноге, но впритык. Он со стоном их напялил и не без осложнений зашнуровал. Ничего, придется потерпеть. Предстоящий подъем нельзя было совершить в обычных ботинках: первый и единственный раз, когда он попытался это сделать, нога постоянно скользила на гладких гольцах. Эти, по крайней мере, удерживались на ненадежных поверхностях. Еще он вспомнил мозоли, натертые точно такой же парой, но замшевой, купленной восемь лет назад и выброшенной, когда он уезжал из Витта. Что ж, левый жал немного меньше правого – хромое утешение.

Он сбросил тяжелый темный пиджак и надел старую штормовку. Направляясь к лифту по коридору, он налетел на какие-то три ступеньки и решил, что единственное их разумное назначение – предупредить его о предстоящем страдании. Но он отмахнулся от зазубренного острия боли и зажег сигарету.

Как во всех второразрядных гостиницах, лучший вид на горы открывался из окон в северном конце коридора: темные, почти черные скалистые вершины с белыми полосами кое-где сливались с угрюмым небом, покрытым тучами; ниже – хвойные меха лесов, еще ниже – более светлая зелень полей. Печальные горы! Прославленные титаны земного тяготения!

Дно долины, вмещающей городок Витт и несколько раскиданных вдоль русла узкой речки деревенок, состояло из унылых пастбищ, окруженных колючей проволокой; единственным их украшением были высокие стебли цветущего фенхеля. Река, прямая, как канал, утопала в зарослях ольхи. Обзор широкий, но не на чем отдохнуть глазу – только что

выкошенный склон пересекала болотистая коровья тропа, на другом берегу выстроился лесок из лиственниц.

Первая часть его повторного хождения к святым местам (Персон, наверное, унаследовал склонность к паломничествам от своего французского предка, католического поэта и почти что святого{42}) состояла из прогулки через Витт к группе дач, разбросанных над деревней по склону горы. Сам городок показался ему еще некрасивее и беспорядочнее. Он узнал фонтан, банк, церковь, огромное каштановое дерево и кафе. Почта тоже была на прежнем месте, и скамейка у ее дверей, а писем все нет.

Он перешел через мост, не помедлив, чтобы прислушаться к грубому шуму потока, который все равно ничего не смог бы ему сообщить. Вершина горы была украшена бахромой елей, в стороне стояло еще несколько елок (не деревья, а туманные призраки, дублеры, выстроившиеся серым строем под дождевыми тучами). Новую дорогу теперь открыли, вокруг выросли новые дома, потеснив жалкие ориентиры, которые он помнил или думал, что помнит.

Теперь ему надо было найти виллу «Настя», до сих пор сохранившую дурацкое русское уменьшительное имя покойной старухи{43}. Незадолго до своей последней болезни она продала дом бездетной английской паре. Он должен увидеть знакомый фасад – пусть он будет тем глянцевым конвертом, в котором прячут картинку из прошлого.

На углу Хью замедлил шаги. Чуть дальше женщина продавала овощи с лотка. *Est-ce que vous savez, Madame...*{43} – да, она знает, это туда, вверх по улице. При этих словах большой белый дрожащий пес выполз из-за ящика, и Хью, вздрогнув от совершенно ненужного воспоминания, вдруг понял, что здесь он восемь лет назад останавливался и видел эту собаку, которая и тогда уже была довольно стара и, конечно, отважно пережила все мыслимые сроки для того, чтобы сослужить службу слепой его памяти.

Окрестности, за вычетом белой стены, были неузнаваемы. Сердце его билось, словно после тяжелого подъема. Светловолосая девчушка с бадминтоновой ракетой в руках, присев, поднимала волан с тротуара. Немного выше он увидел виллу «Настя», перекрашенную в небесно-голубой цвет. Все ее окна были закрыты ставнями.

23

Избрав для восхождения в горы одну из размеченных тропинок, Хью встретил еще одного пришельца из прошлого, а именно почтенного зрителя скамеек – оскверненные птицами и старые, как он сам, они понемногу разваливались в разных тенистых уголках (под ними желтые листья, над ними – зеленые) по ходу поднимающейся к водопаду

тропинки, определенно идиллической. Он вспомнил украшенную богемским стеклом трубку зрителя (гармонирующую с прыщеватым носом ее владельца) и то, как Арманда, пока старик копался в мусоре под треснувшей скамейкой, обменивалась с ним грубыми шуточками на швейцарско-немецком диалекте.

Теперь туристам предлагались некоторые дополнительные восхождения в этом районе, к их услугам были новые подъемники и новое шоссе из Витта до станции канатной дороги, куда Арманда ходила с приятелями пешком. Когда-то Хью тщательно изучил карту местности, огромную Карту Нежности, или Хартию Пыток, вывешенную на доске объявлений возле почты на всеобщее обозрение. Если бы он захотел теперь с комфортом доехать до края ледника, он мог бы сесть на новый автобус, соединивший Витт с канаткой Дракониты. Но он пожелал целиком повторить весь трудный старый маршрут и пройти через незабываемый лес. Он надеялся, что подвесная кабина осталась такой, какой он ее запомнил – о двух скамейках одна против другой: она парила ярдах в двадцати над торфянистым склоном по просеке, вырубленной среди елей и ольховника, и примерно каждые тридцать секунд с толчком и шумом терлась о столб, но в остальном вела себя вполне пристойно.

В памяти Хью сплелись воедино несколько троп и дорог для транспортировки леса, которые вели к началу тяжелого подъема – хаос валунов и джунгли рододендронов, через которые надо было продираться к канатке. Неудивительно, что очень скоро он заблудился.

Память его тем временем держалась своей собственной путеводной нити. Снова он задыхался, стараясь не отстать от нее, беспощадной. Снова она поддразнивала Жака, красивого мальчика-швейцарца с оранжево-лисыими волосками на теле и задумчивыми глазами. Снова она флиртовала с эклектичными близнецами-англичанами, которые ямы называли «кульками», а вместо «хребет» говорили «Ай-рарат»{44}. Несмотря на внушительный внешний облик, ни ноги Хью, ни его легкие не давали ему возможности угнаться за ними даже в памяти, и когда четверка прибавила шагу и скрылась со всеми своими жестокими альпенштоками, веревками и прочими орудиями пыток (объем снаряжения явно был преувеличен невежеством), он остался стоять на скале и, глянув вниз, сквозь волнующийся туман увидел, казалось, само рождение гор, по которым шагали его мучители, и кристаллические хребты в унисон с его собственным сердцем словно распирали дно доисторического моря (more). Вообще говоря, погоня обычно заканчивалась для него еще до выхода из леса – убогого старого ельника, пересеченного крутыми и болотистыми тропинками меж зарослей мокрых стелющихся трав.

Сейчас он поднимался этим самым лесом, снова так же ужасно задыхаясь, как и прежде, когда он поспевал вслед за золотистым затылком Арманды или за огромным рюкзаком на голой мужской спине. Как и тогда, жмуций носок ботинка вскоре натер ему кожу на суставе третьего пальца правой ноги, и красный глазок на этом месте теперь просвечивал сквозь любую прореху в мыслях. С лесом он в конце концов развязался и вышел на каменистый луг, где стоял одинокий сарай, который показался ему знакомым. Но нигде не было видно ни ручья, в котором он однажды мыл ноги, ни сломанного мостика, который в его

сознании внезапно пролегал над пропастью времени. Он пошел дальше. День немного посветлел, но тут же туча своей ладонью снова прикрыла солнце. Тропинка дошла до пастбища. Он вдруг заметил распластанную на камне большую белую бабочку. Прозрачные, неприятно сморщенные поля ее бумажно-тонких, подкрашенных выцветшим багрянцем крыльев с черными пятнышками слегка подрагивали на безрадостном ветру. Хью вообще не любил насекомых, но эта бабочка выглядела особенно неприятно. И все же в порыве добросердечия, для него необычном, он подавил желание раздавить ее слепым сапогом, смутно представив, что она, должно быть, устала и голодна и что ей, наверное, будет приятно, если ее перенесут на травяную подушечку, усеянную розовыми булавочными головками каких-то мелких цветов. Он склонился над бабочкой, но та с шумным шелестом уклонилась от его платка, потом, преодолевая тяготение, неуклюже взмахнула крыльями и уверенно поплыла прочь.

Он увидел перед собой указательный столб. Сорок пять минут до Ламмершпица, два с половиной часа до Римперштейна{45}. Стало быть, он сбился с пути, ведущего к станции канатной дороги. Указанные расстояния звучали унылым бредом.

За столбом тропинку обступали крутолобые серые скалы, обросшие полосками черного мха и бледно-зеленого лишайника. Он поглядел на тучи, сгущавшиеся над дальними пиками или провисавшие между ними, как тело медузы. Продолжать подъем в одиночку не было никакого смысла. Бывала ли она здесь, отпечатывался ли когда-нибудь в этой глине замысловатый рисунок ее подошв? Он взглянул на остатки немногочленного пикника, на кусочки яичной скорлупы, обломанной пальцами другого пустынного, сидевшего здесь всего за несколько минут до его появления, на смятый пластиковый пакет, куда в свое время спорые женские руки небольшими щипчиками вкладывали, одно за другим, светлое яблочное печенье, чернослив, изюм, орехи, липкую мумию банана – все это уже теперь переваривается. Скоро все поглотит серая пелена дождя. Он почувствовал первый его поцелуй на своей лысине и повернул обратно к лесу, обратно к своему вдовству.

Подобные дни, давая отдых глазу, оставляют больше простора другим органам чувств. Небо и земля лишились всякой окраски. Непонятно, моросил ли дождь, или это только казалось, или вообще не было дождя, и все-таки – дождь шел, в том смысле, который может быть выражен словесно лишь на некоторых старых северных диалектах или даже не выражен, а как бы передан через призрак звука, производимого мелким дождиком, падающим на туманный куст благодарных роз.

«Дождь в Виттенберге, но не в Виттгенштейне» – темная шутка из «Транс-ля-тиций»{46}.

Прямое вмешательство в жизнь персонажа не входит в наши обязанности; с другой же стороны, выражаясь «транс-ля-тически», судьба его – не просто цепочка predetermined связей: пусть одни «будущие» события вероятнее, чем другие, хорошо, но все они – не более чем химеры, и любая последовательность причин и следствий – это всегда стрельба в молоко, даже если ваша шея уже прильнула к серпу гильотины и тупая толпа затаила дыхание. Какой был бы хаос, если бы кто-то из нас стал защищать мистера Х., а другие поддерживать мисс Джулию Мур, чей интерес, например, к диктатурам в дальних странах пришел в противоречие с интересами ее старого большого поклонника, мистера (ныне лорда) Х. Самое большее, что мы можем сделать, направляя фаворита по лучшему пути при обстоятельствах, не заключающих для других ущерба, – это пытаться воздействовать, на манер ветерка, самым легким, самым непрямым дуновением, пробуя, скажем, навеять сновидение, которое, как мы надеемся, наш фаворит потом расценит как пророческое, если вероятное событие произойдет в действительности. В печатном тексте слова «вероятное» и «действительность» тоже надо было бы выделять курсивом, по крайней мере слегка, тем самым указывая на легкость дуновения, склоняющего (к тому или иному) и буквы, и персонажей. Курсив для нас еще важнее, чем для авторов самых сюсюкающих детских книг.

Жизнь можно сравнить с человеком, танцующим в различных масках вокруг своей собственной личности: так спящего мальчика берут в окружение приснившиеся ему овощи из нашей первой книжки с картинками – зеленый огурец, синий баклажан, красная свекла, Картошка-mère, [44] Картошка-fille, [45] девочка-спаржа и прочие и прочие, – они ведут свой хоровод все быстрее и быстрее, постепенно сливаясь в просвечивающее кольцо, играющее всеми цветами радуги вокруг мертвого человека или погасшей звезды.

Не полагается нам и объяснять необъяснимое. Люди научились жить с черной ношей, с огромным саднящим горбом: с догадкой, что «реальность» только «сон». Но насколько было бы еще ужаснее, если бы сознание того, что реальность может оказаться сновидением, само было сном, встроенной галлюцинацией! Надо, впрочем, помнить, что не бывает миража без точки, в которой он исчезает, точно так же как не бывает озера без замкнутого круга достоверной земли.

Мы уже дали понять, что нам не обойтись без кавычек («реальность», «сон»). Знаки, которыми Хью Персон все еще испещряет поля корректур, определенно имеют метафизическое, зодиакальное значение. «Прах к праху»{47} (мертвецы легко мешаются, хоть это можно, по крайней мере, считать установленным). Пациент одной из психиатрических клиник, где лежал Хью, дурной человек, но хороший философ, уже будучи «неизлечимо больным» (страшные слова, их не спасут никакие кавычки), сделал для Хью такую запись в его «Тюремно-психиатрическом альбоме» (род дневника тех печальных лет):

«Обычно считают, что если человек установит факт жизни после смерти, он тем самым разрешит загадку бытия или станет на путь к ее разрешению. Увы, эти две проблемы необязательно сливаются в одну или хотя бы частично совпадают».

Закроем тему на этой странной ноте.

25

Чего ты ждал от своего паломничества, Персон? Простого зеркального возвращения старых страданий? Сочувствия от замшелого камня? Насильственного воссоздания безвозвратно исчезнувших мелочей? Поисков утраченного времени в совершенно ином смысле, чем ужасное «Je me souviens, je me souviens de la maison où je suis né»[46] Гудгрифа{48} или даже настоящее Прустово странствие? Все, что ему довелось когда-то здесь испытать (за исключением финала последнего восхождения) – это отчаяние и скука. Вновь посетить унылый серый Витт его заставило нечто совсем другое.

Не вера в привидения. Какому призраку охота посещать полузабытые груды материи (он не знал, что Жак лежит погребенный под шестью футами снега в Чуте, Колорадо), неверные тропинки, хижину лыжного клуба, – некие чары не дали ему до нее, добраться, но, так или иначе, ее название безнадежно перепуталось для него с «Драконитом», стимулирующим средством, снятым с производства, но все еще рекламируемым на заборах и даже на скалистых утесах. И все-таки проделать весь этот путь на другой материк его заставило нечто, имеющее отношение к визитам призраков. Давайте в этом немного разберемся.

Практически все сны, в которых она являлась к нему после смерти, ставились в декорациях не американской зимы, а швейцарских гор и итальянских озер. Он не нашел даже той поляны в лесу, где незабываемый поцелуй был прерван появлением маленьких веселых скалолазов. Моментальное соприкосновение с самым существенным ее образом в точно запомнившейся обстановке – вот к чему сводилось желаемое.

Вернувшись в отель «Аскот», он жадно съел яблоко, со вздохом отвращения стащил с себя заляпанные глиной сапоги и, не обращая внимания на потертости и сыроватые носки, вернулся к уюту обычной обуви. Теперь снова пора возвращаться к истязующим обязанностям!

Надеясь, что какая-нибудь зрительная зарубка поможет ему вспомнить номер комнаты, в которой он жил восемь лет назад, он прошелся по всей длине коридора третьего этажа, заглядывая в пустые глаза незнакомым цифрам, и вдруг застыл на месте: прием, наконец, сработал. Увидев очень черный номер «313» на очень белой двери, он вспомнил, как говорил Арманде (обещавшей его посетить, но не желавшей о себе заявлять): «Чтобы эти цифры запомнить, надо их

представить себе как три фигурки в профиль, – узник, которого ведут два стражника, один спереди, другой сзади». Арманда возразила, что для нее это слишком мудрено, – она просто запишет номер в календарь, который носит в сумочке.

За дверью твякнула собака: это значит, подумал он, что номер занят прочно.» Тем не менее он удалился с чувством удовлетворения, с чувством, что отвоевал важный клочок земли в одной из провинций прошлого.

Потом он спустился вниз и попросил хорошенькую служащую позвонить в гостиницу в Стрезе и узнать, могут ли они дня на два предоставить ему комнату, где мистер и миссис Хью Персон останавливались восемь лет назад. Ее название, сказал он, звучит, как «Beau Romeo».[47] Она повторила его уже в правильной форме, но сказала, что это займет несколько минут. Пожалуй, он подождет в гостиной.

В гостиной находились лишь двое – швейцарский бизнесмен, проглядывавший старый номер американского журнала (оставленного здесь Хью восемь лет назад – но эту линию жизни мы не прослеживаем), и какая-то женщина, додававшая завтрак в дальнем углу (ресторан был недоступен – его еще не прибрали после недавней фарсовой потасовки). Столик по соседству со швейцарским господином был завален гостиничными проспектами и довольно свежей периодикой. Локоть швейцарца покоился на «Трансатлантике»{49}. Хью потянул журнал к себе, и швейцарский господин буквально взлетел со своего стула. Извинения и контризинения переросли в разговор. Английский язык месье Уайльде{50} во многих отношениях – грамматикой и интонациями напоминал английский Арманды. Он предельно шокирован статьей в «Трансатлантике», – попросив его на минутку обратно, он послюнил большой палец, нашел соответствующее место и, протягивая Хью журнал, раскрытый на возмутившей его статье, тыльной стороной руки стукнул по странице:

– Тут пишут о человеке, который восемь лет назад убил свою жену и –

Служащая, чью конторку и бюст он со своего места различал в миниатюре, издали подавала ему знаки. Она выбралась из своей клетки и направилась к нему.

– Не отвечает, – сказала она. – Попробовать еще?

– Да, да, – сказал Хью, поднимаясь с места и натываясь на кого-то (на женщину, которая, завернув оставшийся от ветчины жир в бумажную салфетку, выходила из гостиной), – да. Ах, простите. Да, непременно. Позвоните, пожалуйста, в справочное или еще куда-нибудь.

Итак, восемь лет назад убийце даровали жизнь, отменив смертную казнь (Персону в другом смысле слова ее тоже восемь лет назад даровали, но он промотал, промотал ее в безумном сне), а теперь его выпускают на свободу, потому что он, видите ли, был образцовым заключенным и даже обучил товарищей по камере таким вещам, как шахматы, эсперанто (он убежденный эсперантист{51}), лучшим рецептам тыквенного пирога (по профессии он кондитер), знакам Зодиака, игре в «рамс» и т. д. и т.

п. Для некоторых людей брак, увы, не что иное, как отходы производства, и не более того.

– Это чудовищно, – продолжал швейцарский господин, пользуясь выражением, заимствованным Армандой у Джулии (ныне леди Х.), – совершенно чудовищно, как цацкаются нынче с преступниками. Не далее как сегодня один горячий официант, обвиненный в краже ящика вина из гостиничного ресторана (который месье Уайльде, между прочим, не стал бы ему рекомендовать), ударил метрдотеля кулаком в глаз, отчего тот почти ослеп. И что вы думаете, начальство вызвало полицию? Даже и не подумало. Eh bien.[48] Та же ситуация и на высшем, и на низшем уровне. Два языка – это господин знает, а вот знает ли он что-нибудь о проблемах тюремного заключения?

О, да. Он сам сидел в тюрьме, потом в тюремной больнице, потом опять в тюрьме, его дважды судили по делу об удушении девушки-американки (ныне леди Х.). «Раз я целый год просидел с кошмарным сокамерником. Если бы я был поэтом (но я всего лишь корректор), я бы вам описал небесный покой одиночного заключения, блаженство унитаза незапятнанной чистоты, свободу мысли в идеальной тюрьме. Назначение тюрьмы (улыбаясь мосье Уайльде, который стал глядеть на часы, но много на них не увидел), конечно, не в том, чтобы исправить убийцу, и не только в том, чтобы его наказать (как можно вообще наказать человека, который все носит с собой, при себе, внутри себя?). Единственное ее назначение, приземленное, но логичное, – это лишить убийцу возможности убивать дальше. Перевоспитание? Досрочное освобождение? Это миф, пустая шутка. Зверя не исправить. А мелких воришек исправлять не стоит – для них-то как раз и существует наказание. В наше время есть, к сожалению, всякие огорчительные тенденции в soi-disant[49] либеральных кругах. В двух словах, убийца, который смотрит на себя как на жертву, это не просто душегуб, но еще и слабоумный».

– Я думаю, мне пора идти, – вяло сказал бедный Уайльде.

– Тюрьмы, психушки, специальные больницы – все это я изучил досконально. Это сущий ад – сидеть в камере с тридцатью непредсказуемыми идиотами. Мне приходилось изображать буйного, чтобы меня перевели в одиночку или в Особое отделение треклятой больницы, в рай неизреченный для таких, как я, пациентов. Единственным моим шансом остаться нормальным было симулировать сумасшествие. Это тернистый путь. Одна здоровенная красавица сестра так меня лупила: раз ладонью, два – костяшками, три – снова ладонью, – зато я возвращался в блаженное одиночество. Должен добавить, – всякий раз, когда вытаскивали мое дело, тюремный психиатр свидетельствовал, что я отказываюсь обсуждать то, что на их профессиональном жаргоне называется «брачной половой жизнью». Могу еще печально-радостно и печально-гордо вам сказать, что ни моим стражникам (среди них попадались неглупые и человечные), ни фрейдистским инквизиторам (все они или дураки, или невежды) не удалось ни сломать, ни изменить мою печальную персону.

Мосье Уайльде, решив, что он пьян или сумасшедший, уплелся прочь. Красивая служащая (плоть есть плоть, красное жало{52} есть

l'aiguillon rouge – любовь моя не обиделась бы) снова стала подавать знаки. Он поднялся с места и подошел к ней. Гостиница в Стрезе ремонтируется после пожара. Mais[50] (подняв красивый пальчик) –

Нам приятно заметить, что всю свою жизнь Персон испытывал известное трем знаменитым теологам и двум второстепенным поэтам странное ощущение, что позади него, как бы за его плечом, стоит великий, несравненно более мудрый, сильный и спокойный, во множество раз нравственно его превосходящий незнакомец. Это и был его главный «теневой спутник» (один критик, читай «клоун», как-то сделал R. выговор за этот эпитет), и не будь у него этой просвечивающей тени, мы не стали бы и заниматься нашим дорогим Персоном. Во время недолгой прогулки от своего кресла в гостиной к прелестной шейке девушки, ее пухлым губам, длинным ресницам и потайным прелестям Персон чувствовал, что кто-то или что-то предупреждает его, что надо поскорей убраться из Витта и в путь, в Верону, Флоренцию, Рим, Таормину, если нельзя в Стрезу. Но он к предостережению, сделанному тенью, не прислушался, и, может быть, по существу был прав. Мы думали, впереди у него есть еще несколько лет земных радостей; мы готовы были перенести к нему в постель эту девушку, но в конце концов он должен сам выбирать, сам должен и умирать, если хочет.

Mais! (чуть-чуть сильнее, чем «но» и «впрочем»), есть у нее и хорошие новости. Он ведь хотел переехать на третий этаж? Это можно сделать сегодня вечером. Дама с собачкой уезжает перед ужином. Это довольно забавная история. Оказывается, ее муж держит приют для собак, чьим владельцам приходится бывать в отъезде. Дама, когда сама путешествует, обычно берет с собой какого-нибудь маленького песика, который больше всех тоскует. Сегодня ей позвонил муж, что хозяин вернулся из поездки раньше срока и со страшным скандалом требует свою собачку обратно.

26

Ресторан при гостинице, довольно унылый зал в деревенском вкусе, отнюдь не был переполнен, но на завтра ожидалось две большие семьи, а кроме того, в более дешевую вторую половину, августа должен был или должен был бы (складки времен перепутались с судьбой самого здания) начаться неплохой приток немцев. Простоватая девушка в народном платье, не совсем скрывавшем большие белые груди, заменила младшего из двух официантов, а левый глаз угрюмого старшего был закрыт черной повязкой, Сразу после ужина наш Персон переезжал в комнату 313; он отметил наступающее событие, выпив в свою полную, но разумную меру – «Кровавого Ваньку»{53} (водка с томатным соком) перед гороховым супом, бутылку рейнского со свиной (загримированной под «телячьи котлеты») и большую рюмку бренди с кофе. Мосье Уайльде отвернулся, когда подвыпивший или одурманенный американец проходил мимо его столика.

Комната была точно такая, какую он хотел или когда-то хотел (опять времена перепутались) иметь для ее посещения. Кровать в юго-западном углу была аккуратно застелена покрывалом, но горничная, которая должна была или могла скоро постучать, чтобы приготовить постель, не была и не будет допущена внутрь – если еще останутся двери и постели, «внутри» и «снаружи». На ночном столике с непочатой пачкой сигарет и дорожным будильником соседствовала красиво завернутая коробочка с зеленоватой статуэткой юной лыжницы, просвечивающей через двойной слой картона и бумаги. Прикроватный коврик – из той же светло-голубой махровой ткани, что и покрывало, – пока был заткнут под ночной столик, но раз она заранее (капризница! гордячка!) отказалась остаться до рассвета, то никогда не увидит его за своим делом – принимающим первый квадратик солнца, потом прикосновение залепленных пластырем пальцев Хью. Букетик колокольчиков и васильков (их оттенки немедленно начали между собой любовную войну) был поставлен не то помощником управляющего, уважавшим чувства, не то самим Персоном в вазу на комод, где лежал только что снятый им галстук уже третьего оттенка голубизны, поскольку из другого материала (сериканет{54}). Наведя на резкость, можно разглядеть, как смесь брюссельской капусты и картофельного пюре, красочно перемежаемая красноватым мясом, зигзагами продвигается по кишечнику Персона – в этом пейзаже из пещер и излучин можно различить еще два-три яблочных семечка – скромные путешественники, задержавшиеся после предыдущей трапезы. Сердце его, слишком маленькое для такого верзилы, имело форму слезы.

Возвращаясь до обычного уровня, мы видим висящий на вешалке черный плащ Персона и его графитово-серый пиджак на спинке стула. Ко дну корзины для бумаг под карликовым письменным столом, стоящим в северо-восточном углу комнаты и полным бесполезных ящиков, прилипли (хотя служащий только что выбросил мусор) клочки бумажной салфетки с жирным пятном. Шпиц{55} спит на заднем сиденье Амилькара{56}, на котором жена собачника возвращается в Трю.

Персон зашел в ванную, опорожнил мочевой пузырь и хотел было принять душ, но теперь она могла прийти в любую минуту, – если вообще придет. Он надел шикарный свитер с отложным воротником и достал последнюю оставшуюся таблетку от изжоги – он помнил, в каком она кармане, но не сразу определил этот карман (странно, как некоторым людям трудно разобраться с первого взгляда, где у висящего пиджака правая лапа, а где – левая). Арманда считала, что настоящий мужчина должен одеваться безупречно, а мыться – не слишком часто. Дуновение мужского запаха из gousset, [51] говорила она, при некоторых соприкосновениях может быть весьма привлекательным. Деодорантами пользуются только дамы и горничные. Никогда и никого в жизни он не ждал с таким нетерпением. Лоб его взмок, он дрожал, коридор был пустой и длинный, немногие постояльцы находились главным образом внизу, в гостиной, где они болтали и играли в карты или просто счастливо покачивались на мягком берегу сна. Он снял с постели покрывало и положил голову на подушку, носками касаясь пола. Новички любят наблюдать за такими действующими на воображение пустяками, как впадина в подушке, увиденная через лобную кость, сквозь изрытый извилинами мозг, затылочную кость и черные волосы. Поначалу нашего

нового бытия, всегда завораживающего, иногда страшющего, этот род невинного любопытства (дитя играет с извивающимся отражением в воде ручья, в северном монастыре монахиня из Африки с наслаждением дотрагивается до хрупкого циферблата своего первого одуванчика) не есть нечто исключительное, особенно если жизнь персонажа с размытыми окружающей материи проследить от юности до самой смерти. Сей персонаж – Персон – медлил на воображаемом пороге воображаемого блаженства, когда Армандины шаги приблизились, дважды вычеркнув «воображаемый» на полях корректуры (вечно на них не хватает места для вопросов и поправок). Вот когда оргазм искусства заструился по позвоночнику с силой куда большей, чем при сексуальном экстазе или метафизической панике.

В миг ее теперь уже неотменимого появления в прозрачных дверях комнаты он почувствовал восторг, как бывает при взлете: пользуясь неогомеровской метафорой – земля наклоняется, потом снова возвращается в горизонтальное положение, и практически без затрат времени и пространства мы уже на тысячу футов от земли, и облака (легкие, пушистые, очень белые, разделенные более или менее широкими промежутками) как бы разложены на плоском стекле небесной лаборатории, сквозь которое далеко внизу, на пряничной земле, виднеется то изрезанный шрамами склон, то круглое индигового цвета озеро, то темная зелень соснового леса, то вкрапления деревень. Вот идет стюардесса, несет прохладительные напитки, – это Арманда, она только что приняла его предложение, хоть он и предупреждал, что она многое преувеличивает, например удовольствие от вечеринок в Нью-Йорке, его работу, будущее наследство, писчебумажное дельце его дяди, горы в Вермонте, – и в этот момент аэроплан взрывается с ревом и надсадным кашлем.

Закашлявшись, наш Персон сел на кровати и в душном мраке стал нащупывать выключатель, но от щелчка было столько же толку, сколько от усилий паралитика подняться с места. Поскольку в его прежней комнате на четвертом этаже кровать стояла у другой, северной стены, он кинулся, как оказалось, к двери и отворил ее настежь, вместо того чтобы попытаться, как он думал, спастись через окно, не запертое на щеколду и распахнувшееся, как только роковой сквозняк принес клубы дыма из коридора.

Пламя, сначала питавшееся подкинутым в подвал промасленным тряпьем, потом поддержанное более летучей жидкостью, предусмотрительно разбрызганной по лестнице и коридорам, быстро распространилось по гостинице – однако «к счастью», как выразилась на следующее утро местная газета, «погибло лишь несколько человек, так как занято было всего несколько номеров».

Теперь языки огня краснокожей колонной поднимались по лестнице – один за другим, парами, тройками, рука об руку, со счастливым гуденьем между собой переговариваясь. Но Персона загнал обратно в комнату не трепещущий их жар, а едкий черный дым; простите, – сказал учтивый огонек, придерживая дверь, которую он тщетно старался закрыть. Окно хлопнуло с такой силой, что стекла разлетелись каскадом рубинов. Уже смертельно задыхаясь, он подумал, что буря снаружи, должно быть, способствует пожару внутри. Наконец, спасаясь

от удушья, он сделал попытку вылезти наружу, но на этой стороне ревущего дома не было ни балконов, ни выступов. Когда он добрался до окна, длинный язык с заостренным бледно-голубым кончиком, танцуя, остановил его изящным жестом руки в перчатке. Сквозь рушащиеся дощатые перегородки и падающую штукатурку до него донеслись человеческие вопли, и одним из его последних ложных умозаключений была мысль, что это крики людей, спешивших к нему на помощь, а не стоны товарищей по несчастью. Вокруг него вращались пестрые кольца, и ему на мгновение вспомнились овощи из жуткой детской книжки – победно кружащиеся, все быстрее и быстрее, вокруг мальчика в ночной рубашке, который тщетно пытается пробудиться от радужного головокружения сна. Последнее сновидение – раскаленная добела книга или коробка, совершенно пустая, прозрачная, просвечивающая насквозь. Это, наверное, оно и есть: не грубая боль физической смерти, но иная, несравнимо горшая мука, – таинственный ход, необходимый, чтобы душа из одного состояния бытия перешла в другое.

Легче, сынок, легче – сама, знаешь, пойдет!

1

Прекрасная комната на четвертом этаже (фр.).

2

Магазин готового платья. Триумфальная распродажа уцененных товаров (фр.).

3

омар по-американски (фр.).

4

роскошная дача (фр.).

5

Частица не сочетается с последним слогом моего имени (фр.).

6

краях (фр.).

7

Распахни свой хитон, Деянира{57} (фр.).

8

на свой костер (фр.).

9

Расскажите мне о ее (фр.).

10

совсем фашист? (фр.)

11

Нет, совсем наоборот (фр.).

12

сам-то он (фр.).

13

родинкой (фр.).

14

рассыльный (фр.).

15

вдвоем (фр.).

16

урожденная (фр.).

17

Тогда пойдём в дом (фр.).

18

в стиле модерн (фр.).

19

подглядывающий поневоле{58} (фр.).

20

ресторанчик (швейц., фр.).

21

точно к семи часам (фр.).

22

псевдоним путешественника (фр.).

23

вьюга (фр.).

24

сугроб (фр.).

25

бесцеремонностью (фр.).

26

другими словами (лат.).

27

желто-синяя берцовая кость (англ.).

28

господину (фр.).

29

кафе «Ледник» (фр.).

30

Горнолыжные термины, обозначающие особого вида повороты.

31

вдвоем (фр.).

32

закусочной (фр.).

33

Здравствуйте (нем.).

34

горести (фр.).

35

изумленные скалы (фр.).

36

нечто выпученное, вытарашенное (фр.; неологизм).

37

эгоизм (фр.).

38

служанка (фр.).

39

большой палец (фр.).

40

операция (ит.).

41

совершенно, прекрасно (ит.).

42

печень (ит.).

43

Не знаете ли вы, мадам... (фр.)

44

мать (фр.).

45

дочь (фр.).

46

Помню, помню я дом, где я родился (фр.).

47

«Красавчик Ромео» (фр.).

48

Что же (фр.).

49

так называемых (фр.).

50

Но (фр.).

51

подмышка (фр.).

Комментарии

1

На имевшихся в нашем распоряжении планах и картах не значатся те швейцарские города, в которых происходит действие основных эпизодов романа: Трю (Trux), Версекс (Versex), Витт (Witt), Дьяблоннэ (Diablonnet). По-видимому, это – вымышленные названия, которые

внешне напоминают топонимику Швейцарии (ср.: Trun, Vernex, Versoix, Wyttenwasser, Diableret) и в которых англоязычный читатель распознает хорошо знакомые ему корни: true (истина); verse (стихи) и sex (секс); wit (ум, остроумие); diabolic (дьявольский). В связи с этим переводчики сочли возможным в одном случае отступить от правил транслитерации и передать Versex как Версекс (вместо положенного Версе). По сходным причинам один из реальных топонимов – Chur (город в, Швейцарии) – передан как Чур (вместо общепринятого Кур).

2

Аскот – ипподром в Англии близ города Виндзора, где в июне проводятся скачки, на которых по традиции присутствуют члены королевской семьи и весь цвет британской аристократии.

3

...не доходя до года рождения Шекспира... – Шекспир родился в 1564 г.

4

...наших ветерков... – Отец Хью спутал два похожих французских слова: vent – ветер и vente – продажа.

5

«Алябастрик». – Придуманное слово включает в себя французское là bas («там»), которое у Набокова обычно выступает как знак «потусторонности» (см., например, «Приглашение на казнь»).

6

Мужское окончание и отсутствие акцента портили непреднамеренный каламбур. – Объявление на будке гласит буквально следующее: «3 фотографии в трех положениях». Однако, если начальный согласный «Р» прочитывать лишь с одним словом, то у нас с некоторой натяжкой получаются два семантически близких словосочетания:

- hot/os/ poses (англ.: непристойные позы) и
- photos osées (фр.: рискованные фотографии).

В обоих случаях чистоту каламбура нарушает мужское окончание «и» (os – греческое, osés – французское), во втором также и отсутствие диакритического знака /' / над «е». Передавая далее каламбур как «рискованные позы», Набоков соединяет английское и французское прочтение.

7

...после десятимильного похода до ближайшей рулетки... – По-видимому, намек на Достоевского, который, как известно, был страстным игроком и, когда жил за границей, нередко проигрывал в рулетку большие суммы денег. Маршрут и время путешествия «русского писателя» также отсылают к первой заграничной поездке Достоевского в 1862 г. Тогда он в начале августа (по новому стилю) встретился в Швейцарии со своим другом Н. Н. Страховым, и они вместе отправились в Италию. Характерна, что безымянный русский писатель «просвечивает» сквозь комнату проститутки, к которой после смерти отца пришел герой, – не пародийный ли это отголосок знаменитой сцены в «Преступлении и наказании», где сходятся «убийца и блудница»? В таком случае, «предварительное название» романа писателя «Фауст в Москве» может вызвать ассоциацию либо с Иваном Карамазовым, которого русская критика начала XX в. именвала «русским Фаустом», либо с теми книгами, которые для Набокова связаны с враждебной ему традицией Достоевского – в первую очередь «Доктор Фаустус» Томаса Манна и, возможно, «Мастер и Маргарита» Булгакова.

8

Анакреон умер... задушенный предтечей вина... – Согласно легенде, древнегреческий лирик Анакреон, уроженец города Теос в Ионии, дожил до глубокой старости и умер, поперхнувшись виноградом. В своих стихах он воспевал мирские наслаждения: любовь, вино, пиры.

9

...шахматисту Алехину цыганка нагадала, что его убьет мертвый бык в Испании. – Непереводаемая игра слов, основанная на омонимии существительных «bull» (бык) и «bull» (пустяк; восходит к вульг. лат. bulla – игра). Таким образом, причина смерти чемпиона мира по шахматам гроссмейстера Александра Алехина (1892–1946),

«предсказанная цыганкой», – мертвая (или потускневшая, поблекшая) игра, то есть и сами шахматы, и упадок творческих сил. На самом деле Алехин, проживший последние годы жизни в Испании, умер в Португалии – в гостиничном номере, склонившись над шахматной доской.

10

Атман – в индуизме божественное начало в душе человека.

11

Кромлех (сравни, млеко...). – Этимологические изыскания Хью Персона пародируют психоаналитическую культурологию Юнга и его школы (см. коммент. к с. 238) и не имеют под собой никаких оснований. Кромлех (археол.) – круг камней – происходит от валлийского crom – круглый и llech – камень; менгир – ритуальный каменный столб – от бретонского men – камень и hir – длинный.

12

Шамар» в значении «веер из павлиньих перьев», встречается, кажется, у Байрона... – Хью Персон, повидимому, спутал слово шамар (искаж. португ.: сигнал трубы или барабана, призывающий к переговорам) с сумар (свободная накидка, легкое платье), которое употреблено Байроном в финале восточной поэмы «Гяур», когда герою является призрак умершей возлюбленной.

13

...ником не замеченная домоуправительница Шерлока Холмса. – Аллюзия на рассказ А. Конан Дойла «Пустой дом» из книги «Возвращение Шерлока Холмса». Чтобы заманить убийцу в ловушку, знаменитый сыщик устанавливает в своем кабинете собственную восковую фигуру, причем из окон напротив манекен кажется живым, так как домоуправительница Холмса миссис Хадсон каждые четверть часа незаметно меняет его положение.

14

Тамворт – как... порода... свиней. – Имеется в виду так называемая «тамвортская» (или «тамуэртская») порода свиней рыжей масти (по названию английского города Тамворта (Тамуэрта), близ которого была впервые выведена).

15

Транс-ля-тиции (от лат. *translatio*) – в значении «метафора», «иносказание», «перевод на другой язык». Для сюжета романа в целом актуально и другое значение этого слова: «перенос», «перемещение».

16

Как это часто бывает в произведениях Р., «на звонок никто не ответил». – Никто не отвечает на звонок героя в двух важнейших эпизодах второй части «Лолиты» Набокова – когда Г. Г. приезжает сначала к повзрослевшей и подурневшей Лолите, а затем к ее похитителю Клэру Куильти. В первом случае герой реагирует на это французским словом *personne* (никого), которое в других значениях эквивалентно английскому *Person*.

17

...имя... искажавшееся... до «Патапуфф»... – Ср. фр. *patarouf* – толстяк, пузан.

18

...мечта любого лютвидгеанца... – намек на тайные пороки автора «Алисы в Стране Чудес» Л. Кэрролла, чье второе имя – Лютвидж (по девичьей фамилии матери). Любимым занятием Кэрролла была фотография, причем многие из его работ – это эротические снимки обнаженных и полубнаженных «нимфеток», девочек в возрасте 10–12 лет.

19

«Рафалович». – Набоков обыгрывает здесь фамилию поэта-эмигранта Сергея Львовича Рафаловича (1875–1943), автора более 20 поэтических книг. В рецензии Набокова на два его сборника (Руль, 1927, 19

января) отмечены многословие, «слишком гладкая неяркость» и «склонность к тем общим идеям, которые спокон веков встречаются в стихах, не становясь от этого ни более верными, ни менее ветхими». Те же недостатки, очевидно, присущи и тому «знаменитому московскому поэту», с которым собирается встретиться Джулия.

20

Rom – в англоязычных странах корректорский знак – команда типографу снять курсив и набрать слово прямым шрифтом

21

«Мондштейновские сексоходы». – От нем. Mondstein – «лунный камень». Ср. название известного романа У. Коллинза.

22

Отец Игорь – контаминация двух названий: оперы А. П. Бородина «Князь Игорь» и романа Бальзака «Отец Горио».

23

...Аваль (Квебек) и... Чут (Колорадо)... – В контексте обыгрывается переключка этих названий с английским avalanche (лавина), мифологическим «Авалон» (у древних кельтов – потусторонний мир, «остров блаженных») и французским chute (падение).

24

...в полной мере согрешила лишь дюжину раз за компанию с Мари, Хуаной и их друзьями... – В оригинале непереводаемая игра слов: she had enjoyed full conjunction with only a dozen crack lovers in the course of three trips – фраза может быть понята двояко, как описание либо эротического, либо наркотического опыта героини.

25

...и еще одного американского писателя, тоже живущего в Швейцарии. – Напомним, что именно в Швейцарии жил американский писатель Владимир Набоков.

26

«Полина анида» – «Pauline anide» – видимо, «Полина одомашненная» или, наоборот, «бездомная» (от лат. nidus и фр. nid – гнездо, дом). Обыгрывается также созвучие с английским термином a nude – обнаженная модель.

27

...как надо писать: «Savoie» или «Savoу»? – По-английски «Savoу» («Савой») – название одной из самых дорогих лондонских гостиниц, а «Savoie» (Савойя) – французского департамента. Обыгрывается, кроме того, значение входящего в топоним существительного voie – путь.

28

«Мишлен» – путеводитель (по названию французской фирмы, которая наряду со своей основной продукцией – автомобильными шинами – выпускает также путеводители по разным странам и городам на основных европейских языках).

29

«Римиформный» – имеющий форму щели или трещины (от лат. rima – щель).

30

«Балансная» – имеющая форму каштана или желудя (от греч. balanus – желудь, каштан). Оба прилагательных имеют отчетливые сексуальные коннотации.

31

«Кеовое дерево» – фисташка туполистная. В оригинале обыгрывается название лондонского ботанического сада Кью–Гарденз.

32

«Пятнистые небриды». – От греч. nebris (мн. ч. nebridis) – шкура молодого оленя, которую носили вакханки во время празднеств в честь Диониса и жрецы Цереры во время Элевсинских мистерий.

33

«Адам von Либриков» – анаграмма от «Владимир Набоков», знак авторского присутствия в тексте. Отметим, кстати, что латинский инициал R. может быть понят как перевернутое русское «Я».

34

«Царство Канута». – Канут (XI в.) – король Англии, Норвегии и Дании, создатель профессионального войска.

35

Танатология – научное изучение смерти (от греч. thanatos – смерть).

36

Ромео. – В английском написании имя Romeo – анаграмма фамилии Мур (Moore), которую, напомним, в романе носят два персонажа – падчерица писателя R. Джулия (то есть Джульетта) и сосед Персона по общежитию, свидетель его сомнамбулического сражения с ночным столиком. Сложная игра с этими именами отсылает не только к «Ромео и Джульетте» и Амуру, но и к любовной лирике английского романтика Томаса Мура (1779–1852), особенно к его стихотворению «Когда пробьет печальный час...», известному в России по вольному переводу И. Козлова. В этих стихах речь идет о душах умерших, посещающих «места былых восторгов».

37

...что на староитальянском языке означает «паломник»... – Аллюзия на сцену бала в «Ромео и Джульетте» (I, V), где герой появляется в

костюме паломника (пилигрима). Это обыграно в его первом разговоре с Джульеттой:

РОМЕО (Джульетте)

Когда рукою недостойной грубо
Я осквернил святой алтарь – прости.
Как два смиренных пилигрима, губы
Лобзаньем смогут след греха смести.

ДЖУЛЬЕТТА

Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке: лишь благочестье в ней.
Есть руки у святых: их может, верно,
Коснуться пилигрим рукой своей.

РОМЕО

Даны ль уста святым и пилигримам?

ДЖУЛЬЕТТА

Да, – для молитвы, добрый пилигрим.

РОМЕО

Святая! Так позволь устам моим
Прильнуть к твоим – не будь неумолима».

(Перевод Т. Щепкиной–Куперник.)

38

...доплерова комбинация. – Здесь обыгрывается название физического явления – эффекта Допплера (по имени открывшего его австрийского физика Христиана Допплера; 1803–1853): изменение длины волны (цвета) светового луча, испускаемого источником, движущимся по отношению к наблюдателю.

39

Супермен, несущий младую душу в своих объятых. – Реминисценция третьей строфы стихотворения Лермонтова «Ангел» (1831): «Он душу младую в объятиях нес/Для мира печали и слез...». (Ср. тот же мотив в финале «Демона»: «В пространстве синего эфира/Один из ангелов святых/Летел на крыльях золотых,/И душу грешную от мира/Он нес в объятиях своих».) Один из самых знаменитых образов русской романтической поэзии иронически сопоставлен здесь со своим далеким американским потомком – всемогущим крылатым Суперменом из серии популярных комиксов.

40

Эйлер Леонард (1707–1783) – швейцарский математик и физик, долгое время работавший в Санкт–Петербурге и в Берлине.

41

Босуэлл Джеймс (1740–1795) – автор биографии английского писателя, критика и филолога Сэмюэла Джонсона (1709–1784), основанной на дневниковых записях за многие годы, в течение которых он тщательно фиксировал все высказывания своего близкого друга и вел хронику его жизни. Биография стала классической, а имя Босуэлла – нарицательным для образцового биографа.

42

...от своего французского предка, католического поэта и почти что святого... – намек на французского поэта, лауреата Нобелевской премии Сен–Жон Перса (Saint–John Perse, наст. имя: Алекси Леже; 1887–1975),

чей псевдоним составлен из имен святого Иоанна и римского поэта Персия. Сен-Жон Перс (без двух букв Персон) известен как «поэт-путешественник», совершивший множество поездок по Азии и островам Тихого океана.

43

...дурацкое русское... имя покойной старухи. – По-английски имя Настя созвучно прилагательному nasty – злобный, мерзкий.

44

...ямы называли «кульками», а вместо «хребет» говорили «Ай-парат». – Братья-близнецы коверкают немецкие слова: Kuhle – яма и Grat – хребет.

45

Римперштейна. – В обоих этих названиях спрятаны первые четыре буквы фамилии героя (Lammerspitz, Rimperstein), а также анаграммировано русское «смерть». Видимо, именно в этой связи ниже говорится о «призраке звука» из «северных диалектов». Кроме того, для сюжета значимы «шпиц» (и как порода собак, и как немецкое «острый»), английское rim (край, обод) и Stein (нем. камень).

46

«Дождь в Виттенберге, но не в Виттгенштейне». – Шутка обыгрывает название университета, в котором учился Гамлет, и фамилию австрийского логика и философа-неопозитивиста Людвиг Виттгенштейна (1889–1951), чью концепцию языка нередко сопоставляли с поэтикой Набокова. «С трудами Виттгенштейна я незнаком и только, наверное, в пятидесятые годы вообще о нем впервые услышал», – раздраженно ответил Набоков на подобные рассуждения одного из интервьюеров. Кроме того, каламбур строится на актуализации семантики собственных имен: Wit (англ.) – ум, остроумие; Berg (нем.) – гора; Stein (нем.) – камень.

47

«Прах к праху» – слова из заупокойной службы в англиканской церкви. Восходят к ветхозаветному: «ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Бытие, 3, 19).

48

«Je me souviens... suis né» Гудгрифа... – В буквальном переводе на французский цитируется стихотворение английского поэта Томаса Гуда (Hood; 1799–1845) «Помню я, помню...», в котором счастливое детство наивно–романтически противопоставляется зрелости. Значимая фамилия Гудгриф может быть прочитана как «Добросердечная печаль», что достаточно точно передает настроение стихов. Кроме того, она подозрительно напоминает неверно переведенную на английский язык фамилию Шарля Бодлера (Baudelaire – Beau Douleur – Good Grief), у которого также есть стихотворение «Maesta et errabunda» о невозвратно утраченном «Эдеме юности».

49

«Трансатлантик». – Подразумевается американский журнал «Атлантик Мансли» (основан в 1857 г.).

50

Уайльде. – Фамилия швейцарского господина должна вызвать ассоциацию с Оскаром Уайльдом и, в первую очередь, с его «Балладой Редингской тюрьмы» (1898), герой которой, подобно Персону, «ту женщину убил в постели, которую любил». Рефрен поэмы – фраза «мы все убиваем тех, кого любим».

51

...убежденный эсперантист... – Обыгрывается значение испанского «эсперанца» (надежда), от которого произошло название искусственного языка «эсперанто».

52

...красное жало... – по–видимому, реминисценция стихотворения английского поэта Джорджа Пила (1558?– 1597?) «Охота Купидона», где любовь последовательно сравнивается с иголкой, жалом, красивой безделушкой, огнем и угольком, пламя от которого «проникает в каждую щель».

53

«Кровавый Ванька». – На самом деле этот коктейль называется «Блади Мэри», то есть, если угодно, «Кровавая Машка».

54

Сериканет – каламбурный неологизм, в котором англ. serie – «шелковый» соединяется с фр. ricaner – «ухмыляться, зубоскалить» и англ. serinette – «специальная шарманка для обучения певчих птиц».

55

Шпиц. – Собачка именно этой породы была у чеховской героини; это вряд ли случайное совпадение, ибо выше «жена собачника» была названа «дамой с собачкой».

56

Амилькар – вымышленное название автомобиля, контаминирующее фр. amical – дружеский и англ. car – машина, а также вызывающее ассоциацию с Гамилькарот (III в. до н. э.) – карфагенским полководцем, героем романа Флобера «Саламбо».

57

Déjanire... – В древнегреческой мифологии Деянира – жена Геракла. Когда она переправлялась через реку на спине у кентавра-перевозчика Несса, тот попытался овладеть ею и был убит подоспевшим Гераклом. Умиравший Несс подозвал к себе Деяниру и сказал ей, что если она хочет иметь средство, которое сохранит ей любовь Геракла, то пусть смешает семя, пролитое им на землю, с кровью, вытекшей у него из раны. Деянира так и поступила и, когда до нее дошли известия об измене супруга, послала ему хитон, пропитанный этой смесью. Однако кровь Несса превратилась в яд, принесший Гераклу страшные мучения. Узнав о случившемся, Деянира повесилась; Геракл же разложил костер, взошел на него и сжег себя.

58

Voueur malgré lui. – Обыгрывается название комедии Мольера «Лекарь поневоле» (La Médecin malgré lui, 1666).

